



Ольга

Премия  
«Русский Букер»

Славникова

2017

роман

Большая проза

Ольга Славникова

**2017**

«Издательство АСТ»

2006

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Славникова О. А.**

2017 / О. А. Славникова — «Издательство АСТ»,  
2006 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-120304-7

2017 год. Большой уральский город. Мир горных духов. Главный герой — талантливый огранщик камней, его друзья — хитники — члены закрытого клана, они одержимы добычей драгоценных камней. Его возлюбленная не называет имени, он не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры... Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание всегда назначается только одно, каждая вылазка в горы может стать последней. А вместе с тем приближается годовщина октябрьской революции и на улицах города разыгрывают театрализованные сражения красных и белых, которые превращаются в настоящий переворот!..

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-120304-7

© Славникова О. А., 2006  
© Издательство АСТ, 2006

# Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	28
Часть третья	58
Конец ознакомительного фрагмента.	66

# **Ольга Славникова**

## **2017**

© Славникова О.А., 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

\* \* \*

## Часть первая

Крылову было назначено на вокзале в половине восьмого утра. Непонятно как, но он проспал и теперь спешил бегом среди извилистых луж, похожих растянутыми позами на перепутавших лево и право Матиссовых танцоров. В руках у Крылова болтался пакет, куда был туго забит верблюжий свитер, темневший раздавленным волосом сквозь полинявшую рекламу спутниковых карт. Свитер надо было отдать профессору Анфилогову на замену того, что оказался напрочь уничтожен молю: на севере, в том секретном распадке, куда экспедиции предстояло добираться при удаче три недели и где угревалась на жирном припеке, с потрепанной бабочкой на горячем боку, завезенная зимой на снегоходе бочка бензина, весна еще только вступала в права и под пьяными елями в укрытии их широких черных шалей еще белел присыпанный иглами каменный снежок. Размазывая ботинками сырую кашу облетевшей черемухи, Крылов проскочил привокзальный сквер; взглянув на серую башню с квадратными часами, где стрелка, как палка слепца, только что ткнула и не попала в римскую IV, он сообразил, что успевает, и даже с запасом.

Слишком легкий в привокзальной толпе, тяжело насыщенной влекомым багажом, Крылов семенил почти на цыпочках за грудой клеенчатых баулов, когда его внимание остановила невесомо одетая женщина с абсолютно пустыми длинными руками, которыми она болтала, словно пытаясь развести в холодном воздухе немного своей теплоты. Незнакомка просвечивала сквозь тонкое марлевое платье и рисовалась в солнечном коконе, будто тень на пыльном стекле. Тело ее обладало странным, вытянутым совершенством тени, а на плече лежал округлый блик, прозрачно-розовый, как маникюрный лак. Между Крыловым и незнакомкой толпилось и сновало множество народу, полностью поглощенного собственной поклажей. Никто ничего не видел вокруг, кроме полустертого солнцем табло объявлений, где то и дело сыпались с треском застоявшиеся строки, пока не выскакивали (как бы составляясь из ошибок и на секунду задерживая самую последнюю) названия и номера прибывших поездов. Незнакомка тоже разделяла всеобщую слепоту: она, всеми растопыренными пальцами укрепляя на лице квадратные очки, что-то быстро говорила своему неясному собеседнику, сажавшему половчее себе на кеды мятую дорожную сумку. Только минуты через три до Крылова дошло, что этот собеседник и есть Анфилогов Василий Петрович, совершенно ничем не замаскированный, только успевший отпустить табачную щетину, которой за пару месяцев экспедиции предстояло стать его обычной жесткой бородицей с двумя волосяными жвалами и курчавой чернотой на крупном кадыке. Тоже заметив Крылова, Василий Петрович сделал ему повелительно-приглашающий знак, тем же заходом руки демонстративно выбросив из рукава защитной куртки сверкнувшие часы.

Тут же, смешав приветствия, подскочил деловитый Колян и предъявил Анфилогову целый веер багажных квитанций. Все равно в ногах оказалось еще до черта поклажи, и Крылов поспешно навьючился, накидав на себя брезентовые лямки и каким-то образом (через чьи-то передавшие руки) поручив знакомке свой неудобный, но легкий пакет. Долговязый Колян, улыбаясь мокрыми железными зубами, влез в постромки лично им пошитой сумки, где весомо покоилась краса и гордость экспедиции: купленный вместо услуг стоматолога японский движок. Василий Петрович, небрежно, будто на вешалку, набросив себе на голову тряпичную кепчонку (все-таки в нем ощущался аристократ и профессор философии), повел свой маленький отряд через промозглый туннель, занятый табором приехавших на заработки азиатских нищих, уже поставивших под жидкий монетный дождик (профессионально чувствуя, где именно протекает здешняя крыша) выдавшие виды коробки из-под жвачки. Незнакомка, с трудом поспевая за невнимательным шагом нагруженных мужчин, забегала то справа, то слева; отчего-то Крылову стали при ней отвратительны эти кучи прогорклого атласного тряпья, откуда тяну-

лись туземные руки, словно веявшие сквозь пальцы недвижный безденежный воздух. То и дело теряя незнакомку во встречном приезде потока, вышибающем дух из всякого зазевавшегося гражданина, Крылов отставал и взглядом ловил впереди ее мелькающие пятки, к которым прилипали, тут же отставая, задники побитых босоножек.

Наконец поднялись на перрон; здесь еще не подали состав, и открытое пространство рельсов и проводов было пусто, будто перспектива из урока рисования; по лестнице пешеходного моста, схематично начерченного поверх упоительных утренних облаков, восходила, всячески помогая своей детским шагом переступавшей тележке, неопределимая, но удивительно четкая человеческая фигурка. Зверски прослезившийся Колян пытался одновременно курить и зевать, дымя кое-как прикрываемой пастью, будто отсыревшая печь. Анфилов, собранный, в профиль к суе перрона и к забирающей влево перспективе, где с минуты на минуту ожидалось зарождение поезда, напоминал романтического преступника – кем и являлся в действительности.

– Значит, будь добр, подготовься к работе в середине сентября, – обратился он к Крылову, перейдя на тот сухой отрывистый тон, что снискал ему дурную славу в среде раннего университетского начальства. – Оборудование докупи, деньги можешь потратить все. Наверстаем с лихвой.

По тому, как Василий Петрович понизил голос – не удостоив, однако, направить его на адресата, но пустив слова на метущий метлою перронный ветерок, – Крылов сообразил, что сказанное не предназначалось для незнакомки, стоявшей чуть поодаль, с мурашками на голых руках, обнимающих пакет. Женщина явно относилась – по сердечной, родственной или служебной части – именно к Василию Петровичу, это отношение никак не проявившему. Крылов все не мог рассмотреть ее как следует: мельком бросаемый взгляд выхватывал то следы прививок, похожие на овсяные хлопья, то крошечную лаковую сумку, то крупное, мужского кроя, розовое ухо, за которое небрежные пальцы, нарушая равновесие очков, то и дело заправляли коротко обрубленную прядь. Стоя близко от незнакомки, Крылов почему-то терял представление о собственном росте и не мог определить, выше он ее или все-таки нет. Эта женщина казалась ему абсолютно замкнутой в себе. Вместе с тем она как будто все-таки была посвящена в тайну и цель экспедиции: на щеках ее, заливаясь под очки, гулял малокровный румянец, и общее волнение, скрываемое мужчинами за деловитостью и привычной бравадой, играло в ней неярким матовым огнем.

Теперь Крылову уже хотелось, чтобы Василий Петрович с Коляном поскорее уехали, хотелось их спроводить, чтобы приступить наконец к ожиданию их триумфального возвращения – чем более триумфального, тем более будничного, с грузом каких-нибудь аметистовых щеток для отвода завистливых глаз. Наконец послышался низкий мохнатый гудок: вдаль показалась и стала расти, целиком заполняя собою и своими вагонами одну из длинных строительных пустот перспективы, башка тепловоза. Поезд налетел, классически вспугнув побежавшую газету, зашипел тормозами, все медленней поплыли белоногие проводницы, протянулись и встали обжитые окна с частями верхних постелей и заспанных физиономий. Пока Василий Петрович, Крылов и Колян закидывали поклажу в тамбур, пока волокли ее, застревая и шоркаясь, по полосатому от солнца коридору, пока устраивали вещи, по очереди присаживаясь в тесноте купе на голую полку, обтянутую бурым дерматином, – незнакомка стояла внизу, и косая солнечная щель между теневыми вагонами, похожая на ружье с ослепительным штыком, проходила по ее незагорелым сомкнутым ногам.

Крылов то и дело украдкой поглядывал на женщину сквозь грязное стекло, испещренное похожими на птичий помет следами челябинского либо пермского дождя. Временами поезд содрогался, ахающая судорога прокатывалась от головы к далекому хвосту, и тогда Крылову мерещилось, что теневые вагоны потихоньку шевельнулись, будто тронутые ветром большие флаги, солнечная щель переполнилась содержимым – и вот уже, не выдержав, побежала

ручейком, попятился налево побитый вокзалище, гуднул, разросся и лопнул встречный состав, открывая холодное пространство с железным озером, засыпанными рыжей хвоей горбатыми валунами, синими горами до горизонта, представляющими собой поросшие лесом прямые углы, – и на лице Анфилогова, лежавшего на голой полке прямо в своей брезентовой одежде, проступил такой же синеватый холод, борода его увиделась заправленной в ворот штормовки, будто шерстяной заношенный шарф.

На самом деле поезд еще стоял, профессор цокал ногтями по толстому стеклу, выглядывая незнакомку, тотчас подбежавшую на знак. Привстав на цыпочки, она распластала на окне четко прорисованную длинную ладонь, Василий Петрович ответно приложил свою – и Крылов поразился, сколь схожи эти руки чем-то латинским в линиях жизни, крупным изяществом пальцевых костяшек. Не дожидаясь больше никаких наставлений и последних церемоний, Крылов поспешно вылез из купе. Определенно он был не в себе, сказывалась, должно быть, бессонная ночь, все видимое было удивительно отчетливо и оставляло в сознании Крылова неосмысленный, необычайно резкий отпечаток. Как только он через две железные ступеньки спрыгнул на перрон, пыльный состав облегченно содрогнулся и, проливаясь на шпалы какими-то остатками технической воды, медленно пошел вдоль ряда провожающих, словно считая их по головам. Шагая следом за ним, следом за ним ускоряя шаг, Крылов поравнялся с незнакомкой, которая махала ускользящим стеклам, пока не выскочил хвост последнего вагона, похожий на обратную сторону игровой карты. Казалось, не только Крылов, но и все вокруг, увлеченные стремлением поезда на север, надеются на какое-то лучшее будущее. В той стороне, куда ушел состав, крутые скосы над полотном зеленели короткой и яркой травой, стоявшей, будто шерстка, дыбом из-за утренних теней, и на солнечном склоне совсем по-деревенски ходила, шевеля траву невидимой веревкой, маленькая белая коза.

Сперва они держались вместе как бы нечаянно: выход в город был только один – все тот же тоннель, где Крылов сумел удачно стряхнуть повисшего на спутнице азиатского ребенка лет девяти, стервеца с мужскими похотливыми глазами, чья липкая лапка уже почти залезла в ее беззащитную сумочку. На вокзальном крыльце, где им, так и не представленным друг другу, предстояло распрощаться, Крылов внезапно почувствовал, что просто не сможет справиться с одиночеством этого дня, все еще свежего и лучистого, как бы растворявшего при нагревании солнцем мятную сонную муть, – но уже почти набравшего полный объем устрашающей небесной пустоты. Наглаживая рыхлые ступени драными кроссовками, Крылов попытался рассказать какой-то анекдот: женщина вопросительно оглянулась, оступилась, устанавливая на лице поползшие очки, – и Крылову показалось, что эта ее манера близоруко смотреть сквозь пальцы и сквозь поправляемые стекла, не утратившие в квадратах оправы какой-то полной и радужной круглоты, знакома ему как своя. Он продолжил было что-то героически плести, но тут на привокзальной площади вспыхнул и грянул, выдувая колбасы тугой, повисающей в воздухе музыки, невидимый дотоле духовой оркестр: там округлый господин с крестообразной эмблемой на лацкане пиджака, повторяемой бородами от кистей партийными штандартами, вышагивал походкой голубя перед строем каких-то полувоенных, из-за разной толщины и сутулости похожих на соленые огурцы.

Онемевший Крылов, слыша только шум своего закупоренного мозга, придержал незнакомку за локоть и попытался улыбнуться. Женщина освободилась, мягко пожав плечом, и, не глядя на оркестр и строй, тихонько двинулась совсем в другую сторону – как бы пробуя на прочность соединившую ее и Крылова невидимую ниточку. Там, куда она направлялась, все было ярче, лучше, чем на три другие стороны света: приманчиво пестрел нарядными, подарочно оформленными лекарствами аптечный киоск, фонтанчик на мокром шесте, похожий на маленький ветряк, радужно посверкивал водяной перепонкой, множество пустых троллейбусов, образуя собственное пространство из качки, стекол, отражений в стеклах, колыхалось возле конечной остановки, где неподвижно стояли сошуренные от солнца пассажиры. Испугав-



пшись, что если он сейчас не двинется за ней, то женщина просто разматывает его, будто катушку ниток, до какой-то голой сердцевины, Крылов устремился вслед, подстроился, пришаркнул, поспешно договаривая прерванную шутку; уклончивая улыбка была ему наградой.

– Между прочим, я тоже с детства люблю этот анекдот, – насмешливо сказала женщина, медленно ступая по расшатанным плитам, хлюпающим сыростью протекающего фонтана.

– Я знаю много других, – поспешно сообщил Крылов, выдавливая из-под плиты себе на кроссовку черную жидкую плюху.

– Наверное, все мои любимые, – заметила женщина.

– Тогда я каждый расскажу по четыре раза.

– Вы всегда такой разговорчивый?

– Нет, только когда голодный. Вот, кстати, вы не завтракали? Смотрите, там подвальчик, наверное, кафе.

– Это не кафе, а магазин “Товары в дорогу”.

– Неужели здесь не продают ничего съедобного?

– Продают, но только все такое, знаете, позавчерашнее. Я бы не советовала.

– Ничего, я однажды целый месяц питался консервами, которым было, представляете, по восемнадцать лет. Вскрываешь банку, а там не мясо, а сухой кусочек торфа. Кисель варил из брикетов вместе с бумагой, приросло...

\* \* \*

Это был очень странный, очень длинный день; все городское майское только что отцвело и лежало папиросной бумагой в перегретых лужах – и запах тонкого тления, сырого сладкого табака печально переслаивал зеленые бодрые запахи уже совершенно сплошной, холодной на ощупь листвы. Долгое время каждый считал, что тот, другой, его ведет, а сам он только следует чужой, еще непредсказуемой прихоти. При малейшем неверном шаге пугаясь расстаться, они сосредоточенно искали линию равновесия, заводившую их порой на проезжую часть. Это было трудно, это был труд – приноровиться к незнакомым шагам, двигаясь буквально в никуда и не чувствуя больше направляющей власти улиц, проложенных в городе вопреки рельефу местности, – чувствуя разве что этот рельеф, иногда сносивший их на спусках и прибавивший к какому-нибудь мраморному магазинному крыльцу. Они подстерегали и предупреждали движения друг друга; иногда их руки сталкивались, и тогда каждому казалось, будто он случайно тронул в воздухе летящую птицу.

Должно быть, только с большой высоты – оттуда, где висел, пылясь в воздушной солнечной толще, маленький рекламный дирижабль, – можно было как-то понять и прочесть ту неуверенную кривую, что вычерчивало по городу их продвижение, – а они не понимали ничего. Они всего-навсего оказывались в том или ином, часто незнакомом месте. Так они попали на уличное кукольное представление, где тряпичные марионетки в условных, похожих на хлебные корки сапогах словно стремились сорваться с ниток согбенного артиста и немногочисленные зрители были поглощены не столько содержанием пьесы, сколько ходом этой борьбы. Их протаскило сквозь маленький митинг, оглашавший окрестности маршевыми мегафонными стихами. Уводимые все больше под уклон, они постепенно приближались к городской реке с глубоким, как желудок, парковым прудом, где скапливалось и переваривалось все попавшее в реку добро, включая утопленников. Здесь, внизу, они забрели на пересеченную местность – свежие канавы с каменными ссадинами, старые серые откосы, сверкающие и скользкие от битого стекла. Здесь они не смогли по-прежнему двигаться одинаково и, размагнитившись, карабкались каждый на свой манер, благодаря чему незнакомка, смешно потоптавшись на пяточке, сбегала с кручи прямо в мужские неловкие объятия. Сразу же выпустив скользкие ребра, Крылов успел ощутить округлый вес подпрыгнувшего полушария и под ним, как в кармане, – дрожа-

щее сердце размером с мышонка. Хрипло засмеявшись, женщина оправила перекрутившееся платье и поковыляла вперед по хрусткому гравию, блестящему на солнце, будто водная гладь.

После, когда они уже втянулись в поставленный над собой (над судьбой?) эксперимент, Крылов пытался ответить себе на вопрос: что же, собственно, не отпустило его уйти своей дорогой с рокового вокзального крыльца? Ведь было так легко разбежаться, и ближе к вечеру он и не вспоминал бы случайную встречу и пил бы пиво в мастерской, вкушая блаженство полумрака, похожего после резкого рабочего света на ласковый мех. Однако вместо того чтобы идти и делать важный заказ, Крылов, как старшеклассник, гулял по городу с блеклой красавицей, вызывавшей у него в душе какой-то щекошный сквозняк.

Вероятно, причина была в необычном возбуждении, в перемене участи, что ожидала Крылова в случае успеха экспедиции. Что были ему эти агатовые кабашоны, ассорти из бракованного камня для нужд лотошной ювелирки, что значили средние деньги, причитавшиеся ему, серьезному мастеру, за работу чуть ли не пуговичного автомата? Много месяцев он жил с ощущением непонятного голода, неразборчиво утоляя его резиновыми сосисками и обсыпанными приторной солью жирными орешками. Но голод был не пищевого свойства: стоило желудку наполниться и отяжелеть, как сердце, сжимаясь, заявляло о своей пустоте. По ночам постель Крылова была усыпана крошками, словно песком расстилавшейся вокруг пустыни. В повседневности образовалась дыра, которую каждый день следовало чем-то заполнять. В мечтах Крылову рисовались большие деньги – такие большие, что срок их действия простирался далеко за пределы жизни, помещая обладателя в своего рода обеспеченную вечность. Но вышло так, что получил он от жизни совсем другое. Как и почему произошла подмена, ни Крылов, ни женщина просто не поняли.

Пустившись пешком от вокзала, они в этот день бродили по улицам точно приезжие. Голод и безмянность сообщали особенную легкость их общей, все более согласованной походке, держаться вместе выходило все лучше и лучше. В открытом парковом кафе, куда Крылов со спутницей все же забрели перекусить, на красных пластмассовых столиках выгорало воскресное меню, хотя по календарю была несомненная среда. Но в ленивом парке стояло вечное воскресенье, по пруду, словно маслом намазанному светом, плавал в своей волне, точно на блюде, тусклый белый лебедь, в тире пощелкивало, похлестывало выстрелами, вдалеке крутились карусели с редкими седоками – или с куклами, пущенными покататься для рекламы, – и на шее у женщины солнечное пятно, трепеща, присосалось к жилке, будто мультипликационный сказочный вампир. Расслабившись на бледном припеке, слегка прогретом шаткую пластмассу, незнакомка сообщила наконец, что ее зовут “допустим, Таня”. Имя было ненастоящее, это чувствовалось по легкой заминке самоуверенного голоса. Принимая игру, Крылов отрекомендовался Иваном, на что свеженазванная “Таня” тонко усмехнулась, отпивая из одноразового зыбкого стаканчика синтетический сок.

– Можете называть меня Ваней, тогда мы получимся в рифму, – предложил Крылов, тут же с интересом обнаружив почти зеркальное отражение своего настоящего имени.

– Таня-Ваня? Детский сад, – пожала плечами женщина, неодобрительно глядя на пиццу, что брякнула перед нею на столик голенастая, в красных курточке и шортах, юная официантка. – Давайте лучше я угадаю вашу профессию.

– Преподаватель истории в колледже! – отрапортовал Крылов так быстро и громко, что теперь уже все официантки, изображающие, как это стало модно, спортивную команду, посмотрели на пару за дальним столом, а из подсобки высунулся толстый, с томатными губами и руками Бармалея, настороженный менеджер. – Еще по пицце с грибами! – крикнул им Крылов, и они немедленно успокоились. Менеджер утянулся в кабинет, голенастая официантка, перепасовав коллеге твердый шнурованный мяч с эмблемой кафе, сунула в микроволновку две тарелки с плоскими заготовками.

– Сами будете есть, – сказала Таня, улыбаясь и хмурясь. – Мою профессию хотите узнать?

- Не очень. Лучше скажите – вы замужем?
- Замужем. А что, профессия не имеет значения?
- Да почти никакого. Тем более для женщины.
- Ждете, что я начну возмущаться? Не дождетесь.

– Обычно дамы на такую реплику начинают возражать. Особенно те, кто присутствует на службе в качестве мебели.

– Я присутствую на службе в качестве серой мыши. Закончила университет, а работаю по специальности, полученной на четырехмесячных курсах. Просто не повезло.

– Многим сейчас не везет. Телевизор – друг безработного.

– А вы не из каких-нибудь политических активистов? Они сумасшедшие и листовки суют на улицах совершенно безумные.

– Я похож на сумасшедшего?

– Вы немножко, извините, похожи на идейного.

– Нет, я, честное слово, не сумасшедший...

Чего Крылов впоследствии не мог понять, так это незаметного исчезновения так и не переданного Анфилогову пакета со свитером. Когда он шел за незнакомкой по вокзальной площади, пакет был точно у него и глухо шмякал по ногам; после, в непрогретом парке, где на солнце был уже июнь, а в плотной тени пробирало майским холодком, Крылов хотел предложить озябшей женщине хотя бы набросить свитер на плечи – но, кажется, пакет был в это время у “Тани”, и “Иван” постеснялся на него указать. Потом они гуляли по крутым аллеям, то и дело превращавшимся в бетонные, грубым гипсом заплombированные лестницы; раз наткнулись на гулкую сцену-ракушку, где под сипение аккордеона вальсировали, таская по доскам опухшие ноги, нарядные старухи, немного дальше их задержала плотная группа обритых юнцов и юниц, мерно хлопавших в ладоши и раздававших бесплатные постеры. Далее в неухоженных зарослях, свойственных скорее общественным уборным, обнаружился кинотеатрик, симпатичный дешевизной билетов и какой-то трогательной старомодностью толстеньких колонн, над которыми белел плешивым кесарским затылком гипсовый герб СССР. Однако фильм на ближайших сеансах оказался детский – старая анимация про Звездного Пирата, – и им обоим стало ясно, что ждать четыре часа до начала столь же старой комедии просто нестерпимо.

– Ну что ж, мы ведь оба взрослые люди, – сказала “Таня” сердитым, немного севшим голосом.

И вот тут уж точно не было никакого пакета – а может, они оставили его в расхлябанном такси, где целовались и задыхались, точно из салона откачивался воздух, и все время попадали в зеркальце заднего вида, которое то и дело поправлял, как бы сливая его содержимое, узкоплечий зализанный шофер. Квартира Анфилогова, где Крылов должен был только послезавтра покормить неприхотливых никелированных рыбок, встретила их дневным полумраком единственной комнаты, заложенной до потолка тысячами темных сросшихся томов; снаружи, за плотно сдвинутыми шторами, полными горячей солнечной краски, грузно когтила железо стая голубей, и узкая профессорская койка не была застелена бельем.

– В первый и последний раз, – хрипло прошептала “Таня”, и “Иван” тоже что-то шептал в ее горьковатое жаркое ухо, дергая на платье вязкую, никак не разнимающуюся молнию.

Раздевая друг друга, они неловко топтали зачем-то взятые в прихожей мужские клетчатые тапки – одна косолапая пара на двоих, – и у “Тани”, когда она стаскивала через голову свою многоярусную марлю, очки слетели и запутались, их пришлось вынимать из платья, будто бабочку из большого мятого сачка. Несмотря на ухватки мнимой опытности, поначалу мешавшие “Ивану” даже к ней подступить, вся она была перепуганная, очень давно не троганная. Соски ее были большие и мягкие, как переспелые сливы, на узком, немного осевшем животе обнаружился шрам, похожий на нитку вареной лапши. На коже ее, сопротивлявшейся губам “Ивана” мелкой сборчатой волной, то и дело попадались какие-то жгучие пятна, словно там

было натерто аптечной мазью, словно она вообще была не очень здорова. В тот момент, когда “Ивану” удалось довести ее до первого слабого завершения, “Таня” глухо закашлялась, виски ее надулись и смокли, – а потом, когда “Иван” после ее недолгого, шепотом, пребывания в душе тоже пошел ополоснуться, он увидел, что от ее купания даже не запотело зеркало.

Они уснули моментально, совершенно не запомнив погружения в сон; на просевшей гамаке профессорской койке им как раз хватило места. После они признавались друг другу, что в первый раз не испытали ничего особенного; видимо, сон в обнимку сотворил решающую перемену. Они лежали целомудренно и тесно, будто близнецы в материнской утробе, и действительно становились все больше похожи друг на друга. Летний комнатный полумрак, не испытывавший при переходе от солнца к ночи дурного посредничества электрической лампы, был удивительно чист. Вся посуда в комнате была пустой, но казалась полной; тупой и мерзлый кристалл хрустала на письменном столе, размером с поллитровую банку, словно читал под лупой придавленную им газету. Декоративные рыбки не видели больше в стеклянной стене аквариума твердого препятствия и свободно плавали по комнате, их крошечные пасти теребили требуху разбросанной одежды, их внутренности темнели клубочками, выделяя время от времени зависавшую в воздухе жирную нитку. Одеяло сползло; почти одновременно, с усилием задержав в себе какие-то последние зерна завода, встали все имевшиеся в комнате часы. Так получилось во сне, что кавычки отпали с придуманных имен; в половине шестого утра, когда улицы сделались глубоки и солнечная полоса прошла по крышам, будто золотой ободок по краю стеклянного стакана (когда в чумазом поезде, несущемся на север, профессор неожиданно сел на съехавшем матрасе и сжал руками угловатое лицо), – оба они вынырнули из снов другими людьми и почувствовали, что этот раз вовсе даже не последний.

\* \* \*

Они стали встречаться и делали это втайне от всех, потому что случившееся с ними по нормальной логике вещей было невозможно. Почему именно он? Почему именно она? Кругом были сотни, тысячи людей, с которыми не происходило ничего подобного, – и они смело выставляли себя напоказ, женские платья в этом сезоне казались наклеенными на влажные тела и дразнили взгляд висячей мишурой. Тысячи мужчин и женщин делали что хотели, были свободны, их веселые глаза были достаточно пусты, чтобы вбирать и присваивать окружающую действительность. Что касается Ивана, то он был настолько переполнен собой и тем, что образовалось внутри без причины и спроса, что в него, будто в доверху залитый сосуд, уже не вмещались картины внешнего мира.

Должно быть, со стороны Крылов смотрелся не лучшим образом: глаза его – слишком красивые для мужчины, как говорила бывшая жена, завидуя их васильковому цвету и качеству плотных, как перо, на диво загнутых ресниц, – теперь кровавились живчиками лопнувших сосудов, а рыжеватая щетина, сколько Иван ее ни брил, вылезала, как занозы из полена, через несколько часов. Постоянные заказчики, среди которых было пополам благообразных, считавших себя неудачниками пожилых евреев и пахнувших лесом жилистых хитников, беспокоились, не болен ли мастер, так объясняя себе состояние человека, поступившего в распоряжение судьбы.

Казалось, Таню и Ивана действительно поразила древняя, повсеместно побежденная медициной инфекционная болезнь. Вирус ее не погиб немедленно под влиянием агрессивной среды, и теперь они снова и снова заражали друг друга – через каждый поцелуй, через свою кочевую любовь в снимаемых на сутки номерах туристических гостиниц, где не было места очарованию и тайне, а было только то, что значилось в инвентарном списке на внутренней дверце платяного шкафа. Вирус передавался через то, на что они просто смотрели вместе, – даже через очень отдаленные предметы вроде самолета, похожего в небе на иголку с ниткой

рыхлой белой шерсти, или горбатого острова, шевелившегося, будто спокойная рыбина в ослепительной ряби пруда. Не помогли и прививки, сделанные жизнью: все те одинокие женщины определенного типа (нерв над бровью, драматическая шаль), с которыми Крылов легко сходился на полгода, на пару недель, не дали ему никакого иммунитета. Что же касается отношений с бывшей женой, с которой Крылов сумел развестись, но так и не сумел расстаться, то они, окрашивая жизнь нестерпимой грустью, совершенно не вызвали наплывов той беззвучной внутренней музыки, под которую Крылов танцевал, двигаясь в неотчетливом мире от дома к мастерской.

Все-таки их болезнь нуждалась в защите, в герметическом колпаке. Благоприятное стечение обстоятельств: встреча на вокзале, немедленный отъезд Анфилогова (в квартиру его сразу же вселилась приехавшая на сессию племянница-студентка, очень цепкая девица с люминесцентным маникюром и подвижными бедрышками, от которой Крылов едва увернулся) – дало им возможность сразу оторваться от реальной жизни, где оба они играли обыкновенные роли и были обыкновенными людьми. Оба не сомневались, что почва реальности на какой-то очень небольшой глубине у них одна и стоит неосторожно копнуть, как обнаружатся общие знакомые, откроются какие-то события, к которым и тот и другая имеют отношение. Но искать друг друга в реальности не следовало ни в коем случае, потому что это значило бы зайти не с той стороны. Обоим было известно, что туда, где они обменивались нежностью, влагой, животным теплом (и чем-то сверх того, передаваемым не напрямую, а словно через космический спутник, все время висевший у них над головами), – что в эту область существует единственный вход, составляющий главный секрет. Впереди у них было целых два богатых и цветущих летних месяца, что каким-то образом возвращало Ивану забытое счастье школьных каникул, – а потом, если экспедиция действительно вернется с теми, какие ожидаются, сенсационными камнями, можно будет уехать вместе хоть в Рио-де-Жанейро, выправив на придуманные имена фальшивые паспорта.

Они почти ничего не знали друг о друге – и оберегались знать. В самом начале Таня обмолвилась, что служит бухгалтером в маленьком издательстве. Это почему-то показалось Ивану трогательным и необычным, хотя у хозяина той, где он работал, камнерезки (владевшего вдобавок парой магазинов, куда помимо копеечной легальной ювелирки, было до потолка напихано густо пахнувшего дезинфекцией тряпочного секонда) тоже имелись бухгалтеры: две немолодые женщины с мальчишескими чубчиками и толстыми стриженными затылками. С дамами Крылов ругался из-за того, что они, набирая чайник в единственном и общем туалете, сдирали с крана шланг, по которому вода поступала к станкам, и бросали его истекать на полу, отчего шлифовальные круги начинали гореть, а возле шланга, заливая глубокий угол с выбитой плиткой, собирался водоем. Не раз и не два Крылов просил хозяина пересадить неаккуратных леди в один из магазинов, поближе к тряпкам, – но поросший прелой шерсткой толстячок, весьма оберегавший свой безрадостный покой, лишь молча показывал на катакомбы товара, занимавшего все подсобки и похожего на цирковую одежду ученых обезьян.

Теперь же, всякий раз при виде бухгалтеров вспоминая Таню, Крылов улыбался им мечтательной и в общем-то безадресной улыбкой – а в ответ неожиданно стал получать на лучшей их тарелке с коронованным вензелем неизвестного ресторана пегие домашние пирожки. Обе дамы как-то враз и устрашающе похорошели, их потупленные глаза, подведенные жирным серебром, напоминали пробки от шампанского; злополучный шланг теперь обнаружился кое-как натянутым на кран и прыскающим в зеркало, зато от сухости абразива не страдало сырье.

Таким образом, лишние сведения друг о друге оказались способны влиять на реальность, чересчур ее очеловечивая. Крылов не собирался через Таню возлюбить многочисленных ближних. Единственное, что интересовало Крылова (и с этим он ничего не мог поделать), была персона мужа, впервые упомянутая в красном пластмассовом кафе и превратившаяся усилиями

Ивана в фигуру преувеличенную и почти неотступную. По неким косвенным, но несомненным признакам Крылов понимал, что Таня его ни с кем не чередует. Всякий раз, освобождаясь от своих развесистых юбок и деревенских кофточек с узловатыми венозными кружевами (скоро Иван уже знал все ее летние вещи и мелкие каверзы их заедающих застежек), она бывала немного замороженная, как бы позавчерашняя; чтобы дать ей достичь сегодняшнего дня, требовалось буквально будить ее длинное тело, вручную разгонять кровоток под стянувшейся кожей, на которой острые мурашки напоминали снежную крупу. Однако жизненный опыт подсказывал Крылову, что бывают браки и без физической близости – и тем более опутанные сложной сетью моральных обязательств, перерастающих в почти нерасторжимый симбиоз.

С деланным безразличием наводя разговор на болезненный предмет, он пытался составить хотя бы приблизительный робот незримого врага. Из неохотных Таниных ответов (в эти минуты у нее всегда тускнели глаза, но зато сердито взблескивали очки) складывался образ положительный, серьезный и абсолютно нежизнеспособный. Этот человек, существуй он в действительности, должен был бы храниться в коробке и работать от электрической сети. Однако Таня упорно держалась заявленной версии о своем семейном положении и вся каменела, как только Иван пытался заставить ее сознаться во лжи. Если трудный разговор происходил в постели (а Крылов с бестактностью и опрометчивостью истинно больного вызывал привидение даже туда, где они были только вдвоем), Таня резко отворачивалась к стене и сразу находила что-то интересное в бумажных гербариях казенных обоев, предоставляя Ивану так же пристально изучать свои незагорелые лопатки. Временно смиряясь, Иван просил прощения и целовал латинское N на ее ладони, ловил губами, будто струйку питьевой воды, ее холодноватую улыбку. Умом он, конечно, понимал, что никакого мужа попросту нет; понимал он и то, что его Татьяна, как всякая женщина, ни за что не пойдет на понижение статуса и не откажется от призрака.

Настойчивость Крылова приводила только к тому, что муж, защищаемый от его нападков с безрассудным упрямством, становился все идеальнее. Теряя в человеческой достоверности, он набирал все больше положительных качеств, среди которых преобладала какая-то маниакальная хозяйственность: Ивана корежило от мысли, что в тот самый момент, когда он обнимает Таню, этот неунывающий молодчик с наслаждением пылесосит ковры или шинкует на салат вареный корнеплод. Он видел, что Таня, несмотря на искренность ее порывов к нему, каким-то непостижимым для него логическим изворотом ума сохраняет верность своей механической кукле.

Смятение Крылова усугублялось еще и тем, что сам он был Тане неверен и не знал теперь, как с этим поступить. Она его между тем ни о чем не спрашивала. Единственное, что его немного ободряло, – муж, если он существовал, явно не принадлежал к разряду богатых людей. Об этом свидетельствовал не только скромный Танин гардероб (вещи ее, снятые и вывернутые наизнанку, с кривыми швами, похожими на остатки вырванных из переплета тетрадных страниц, просто кричали о своей дешевизне), но и немногие украшения, темные и мелкие, напоминающие сорные колючки с тусклыми семенами: в них Крылов безошибочным глазом специалиста определял имитации бриллиантов из фианита и хрусталя. По опыту общения с бывшей женой он понимал, что женщина с деньгами может ради маскарада одеться в китайский ширпотреб, но бриллианты даже в маленьком заношенном колечке будут настоящие.

Он знал, что война за женщину, как бы мало ни ценила она материальные блага, есть война экономическая. Против мужа-спонсора, привившего жене систему дорогих привычек, у Крылова не было шансов: триста долларов в месяц для нее было бы то же самое, что для рыбы, выброшенной на берег, стакан воды. Он знал, что среди женщин, абсолютно обеспеченных мужьями, встречаются бескорыстные, встречаются даже такие, которые среди полной роскоши тяготятся смутной утратой и смотрят из дорогих автомобилей будто испуганные кошки. Но и они не могут вне своей естественной среды обитания: накормленные, они погибают от голода и

мучаются жаждой, имея в холодильнике минералку и молоко. Таня, конечно, была не из таких, в ней дамская интеллигентность соединялась с поразительной живучестью. Самая ее болезненность выглядела как способ адаптации к нездоровому воздуху и мертвой еде, а царапины и мелкие ранки заживали моментально, точно нарисованные, капельки крови превращались в сухую масляную краску, вызывая подозрение, что и вся ее кровь ненастоящая.

– Ты могла бы уехать со мной куда-нибудь далеко? – спросил однажды Иван, обнимая Таню у чугунного парапета, за которым ночной невидимый пруд почмокивал, будто резиновая грелка.

– Я могла бы улететь с тобой на Луну.

– Но на Луне нет воздуха.

– А ты уверен, что мы воздухом дышим сейчас?

Иван глубоко вдохнул: запахи илистого дна поднимались от воды, рядом мелкие белые соцветия, роem мерцавшие в темноте, источали слабый ванильный аромат, откуда-то наносило жареным мясом, музыкой, громким разговором.

– Это цитата из старого фильма, – примирительно произнесла Татьяна, поеживаясь в ситце от сырого ветерка.

Все-таки она выразила то, о чем они боялись говорить. Все вокруг было нереально. Мутно светились два граненых стакана Экономического центра, над ними луна горела, будто кнопка вызванного лифта.

– Можно ли уехать дальше, чем мы есть сейчас? – тихо произнесла Татьяна, и Крылову было нечего на это возразить.

\* \* \*

Все-таки Крылов рассчитывал на успех экономической войны. На бедной Тане отсутствовал тот многослойный глянец состоятельности, что превращает человека в собственное изображение и максимально приближает его повседневный облик к фотографиям в липких журнальчиках, еженедельно питающих публику светскими сплетнями. Журнальчики эти, между прочим, преследовали пару по всем гостиницам, обтрепанными бабочками валялись в номерах – и бывало, что Иван, случайно выдернув из тумбочки легонький ящик, вдруг наткнулся на снимок бывшей супруги, где она сияла магниевой улыбкой, отвечая этой дежурной вспышкой на атакующие вспышки фотокамер.

Тамара любила сниматься в изумрудном ожерелье, где Крылов совсем недавно ремонтировал сколотые камни, пострадавшие в результате одного из ее бессмысленных, ни к чему не относившихся праздников, когда с танцующих уже лилось и сыпалось и на упавшую под ноги грузную нитку наступил, виляя носом, крокодиловый башмак. При мысли о том, сколько раз он застегивал это ожерелье на склоненной Тамариной шее, приподняв уложенную, пахнущую жженым сахаром волну прически, у Крылова медленно сжималось сердце. Он понимал (в скудно освещенном гостиничном пенале, под еле теплым душем, обвивавшим тело слабой веревочкой воды), что тайна, которой он и Таня отгородились от мира, оставляет Тамаре все ее реальное пространство и ее позицию главной женщины в жизни Крылова. Все остальные его случайные подруги – всегда с апломбом красавиц, всегда с каким-нибудь странным дефектом вроде похожего на свечной огарок крупного пупка или ядовитых подмышек – попадали под ее холодноватую опеку и, не выдерживая с ней сравнения, быстро бросали Крылова. Порой у него создавалось впечатление, будто Тамара ловит на него, как на живца, проявления жизни – собственно жизнь, которая ускользает от этой радикально омоложенной женщины, имеющей все, но соединенной с этим “всеm” единственно правом собственности. Где-то тут лежала причина того, что Тамара не заводила ни кошек, ни собак, ни лошадей – не владела живым, понимая, должно быть, что по-настоящему овладеть не получится. Между Тамарой и реальностью

образовался тонкий слой пустоты, одевавший ее, будто прекрасное платье. Крылов оставался для Тамары последним полем сражения, где она могла повстречаться с себе подобными – с женщинами, дававшими ей почувствовать, что она еще существует.

Таня была существом Зазеркалья. Крылов не представлял, как мог бы привезти ее в Тамарин загородный дом, где в любое время суток тут и там горели окна, за которыми как раз и не было людей, зато в неосвещенных комнатах можно было, наоборот, наткнуться на кого угодно – от спящего калачиком юного поэта до депутата Госдумы, пытающегося твердым взглядом из-под набухшего лба передвинуть бутылку коньяку. Таня в этом мире по определению отсутствовала. Поэтому мир, которому Тамара была законным центром, с появлением Тани ничуть не изменился: оставался все тем же вызовом Крылову и одновременно наглядным свидетельством, что в жизни, помимо повседневности, куда большинство населения погружено с головой, существует и что-то еще. В юности Крылов яростно отвергал убогое счастье труженика, состоявшее из квартирки, дачки и получки. Теперь Тамарин финансовый успех создавал абсурдный мирок, являвший ему огрубленное, но единственно доступное подобие пленительных картинок, что создавало воображение юного Крылова, мечтавшего о выдающейся судьбе.

Результат экспедиции должен был разрешить многолетнюю тяжбу Крылова с Тамарой, кто первый обойдется без другого. И после развода они продолжали дополнять друг друга – не в житейском смысле, но до какого-то целого, до чьего-то замысла о гармоничном единстве мужчины и женщины. Окружающие думали, будто они расстались из-за разницы в успехе и социальном статусе. Но гордая Тамара никогда бы не опустилась до пошлого сопоставления доходов. В отличие от многих женщин, сделавших бизнес, Тамара даже не пыталась устроить мужа на какую-нибудь руководящую должность – Директором Аналитического центра по изучению Дырки От Бублика или Председателем регионального комитета по защите прав Домашних Насекомых, – каковые должности вызывали у серьезных людей тихие улыбки, но оправдывали ношение брендового галстука. Она давала мужу полную возможность быть самим собой – то есть в понимании общества простым мастеровым; она догадывалась, что присущее Крылову чувство камня делает его представителем сил, подспудно управляющих самоцветной Рифейской землей, – то есть представителем власти в каком-то смысле более законной, нежели губернаторская.

О событии, которое четыре года назад спровоцировало развод, Крылов не хотел вспоминать. Оно, однако, не привело к решительному разрыву: отношения длились, и во время нечастой близости Тамара, ловившая губами шейную цепочку Крылова, на которой не было креста, делала все, чтобы время исчезло. Им еще только предстояло расстаться. Без расставания с Тамарой Крылов не мог обойтись: внутреннее событие, никем не опознаваемое и никем не засвидетельствованное, казалось ему более насущным, чем памятная явка к районному судье, где их разводили за закрытыми дверями, то и дело путая Крылова с корректным, подстриженным, как парковый куст, Тамариным охранником.

Но чтобы покончить с тем, что относилось только к прошлому, Крылову недоставало свободы. Собственные деньги обещали ему свободу и право распоряжаться собой. До последнего времени Крылов не знал, как именно поступит: навсегда уйдет от Тамары, сделав ей на прощанье какой-нибудь нейтральный очень дорогой подарок, или, вооружившись букетом ее любимых тяжелых, как яблоки, розовых роз, придет по полной форме просить ее руки. Теперь, конечно, выбор оказался сделан – вернее, выбора не оставалось. Если бы не существование Тамары, Крылов мог бы считать отношения с Таней продолжением своей единственной и непрерывной жизни. Но Тамара была, и жизнь приходилось разрывать на две неравные части – заканчивать одну и начинать другую; при этом нельзя было знать, какая из частей окажется большей и какая окажется главной. В заведомом неравенстве заключалась тайна, быть может, важнейшая в судьбе Крылова; теперь ему стоило внимательно приглядываться к поведению собственного прошлого. Он знал, что прошлое будет бороться за себя, внезапно прибавляя в



весе за счет воспоминаний, достроенных снами. Но, собираясь с духом, он всерьез подумывал о полном уходе в Зазеркалье. Все могло сложиться одно к одному. Крылов не разрабатывал слишком подробного плана, зная, как опасно готовить для будущего жесткие формы. Но идея насчет паспортов на новые имена казалась ему все более перспективной.

В результате он повстречался – через посредничество одной из бывших своих приятельниц, профессиональной гадалки, носившей на обесцвеченной щетинке громадные, как генеральские папахи, воронные парики, – с человеком, который мог бы устроить дело. Им оказался благообразный пожилой господин с сильно отвисшим, словно напудренным лицом и по-дамски стриженной сединой: эта стрижка, выглядевшая чудаковато и умилительно, позволяла, однако, предположить, что в более молодые годы старикан не чуждался экстремального дизайна и был, пожалуй, крут. Доброжелательно глядя на Крылова водянистыми глазами, обведенными арбузной краснотой, господин сообщил, что имеет на выбор паспорта израильские, канадские, испанские и – подешевле – российские. Из матерчатой кошелки, что лежала подле старикана на парковой скамейке, выглядывали яркие квадратные детские книжки; рядом бледный мальчик в нежнейших фиалковых веснушках сосредоточенно работал пультом, гоняя по сырому песку жужжащих, похожих на ожившие вилки и ложки механических солдатиков. Вспомнив Анфилогова, который с годами становился только активнее, Крылов подумал, что стариковская преступность в этой стране действительно ждет своего социолога. Цены, названные стариканом, показались Крылову запредельными; однако если правда то, что разболтал ему Колян о необычайном северном фарте, то процент от огранки добычи выльется в сумму, с которой не будет почти ничего невозможного. На этой мысли он приободрился. Если все получится, то денег хватит, чтобы обустроить зазеркальную жизнь, где Крылов возродится другим человеком – и то, что происходит между ним и случайно встреченной женщиной, будучи ложным для этого мира, делается там законной, полновесной правдой.

\* \* \*

Собственно говоря, надежда на будущее противоречила тому, как Таня и Иван обустроили свое настоящее. Всякий раз назначалось одно, и только одно свидание: если бы оно сорвалось, у них не осталось бы никакой возможности увидеться снова, разыскать друг друга в четырехмиллионном городе без посторонней помощи – то есть без помощи Анфилогова, чьего посредничества Крылов не хотел из суеверия, а Таня по каким-то своим таинственным причинам, заставлявшим ее при малейшем упоминании профессора надолго отстраняться, держа на лице холодную тень. С точки зрения Ивана профессор был и так нагружен ролью в ненадежном сцеплении событий – и дай-то бог, чтобы четыре поразительных рубина, похожих на грубые пробирки с жирной каменной кровью, которые Анфилогов прошлым летом добыл на неизвестной северной реке, не оказались теперь искушением, мучительным миражом.

Из-за невыносимой краткости безразмерного лета каждое свидание на другое утро представлялось Ивану утратой. Тот обыкновенный факт, что бывшее вчера не повторяется и остается позади, воспринимался им с какой-то болезненной буквальностью. Но зато теперь каждое утро было удивительно просторно, обещая вместить полмира, – и действительно вмещало, заключая в своей прозрачности миллионы предметов, от синих камешков гравия и словно указывающих друг на друга двух сигаретных окурков до миниатюрных в своей огромности жилых массивов и высоких, с напылением металла, сизых облаков. Все утро было как полный вдох, как расширение гигантских легких; все обнаруживало связи со всем, каждое дерево было оборудовано птичьим телефоном, и аппараты звенели на разные голоса, но никто не подходил, и отсутствие абонента переживалось Иваном необыкновенно остро в толпе, сгущенно заполняющей метро, – а там, на эскалаторе, легкие женские юбки надувались колоколами, и восхи-

ценный туркменчонок вдруг заводил гортанную песню, спускаясь в таборе своих цветастых и грязных сородичей к налетающим подземным поездам.

Так, стало быть, выходило, что каждую встречу Крылов перерабатывал в воспоминания, и у него копились эпизоды, в часы одиночества рвавшие сердце. Однако существовала очень важная причина, по которой Таня и Иван не дали друг другу своих адресов, не обменялись никакими телефонами (иные средства связи, вроде электронной почты, также были запрещены). Каждый раз они испытывали друг друга – но не столько друг друга: оба понимали, что слабы перед обстоятельствами и их стремления на самом деле очень мало значат. Они испытывали судьбу. Если бы Таня и Иван могли найти в себе или вокруг себя хоть какую-то причину происходящего с ними! Тогда, по крайней мере, было бы понятно, может ли все это исчезнуть так же внезапно и насильственно, как и началось. А пока обоим была необходима ежедневная санкция судьбы.

Сперва они встречались в одном и том же месте: возле Оперного театра, бывшего в железобетонном городе одним из немногих объектов, покрытых красотой в виде лепных медальонов и гирлянд, – но строением коробки похожего на шагающий экскаватор. Здесь, у круглого фонтана, напоминавшего по прихоти архитектора главную оперную люстру, располагалось место свиданий молодежи. То и дело очередная пара, поцеловавшись в водяной пыли, уходила восвояси, – а невдалеке на выгнутых скамейках скучала университетская выставка невест: каждая с трепещущей книжкой на загорелом колене, каждая вторая – в модных, словно залитых свекольным соком солнечных очках. Однако скоро общепринятое место надоело; кроме того, фиксированная точка при постоянстве послеполуденного времени, когда Иван и Таня уже могли сорваться с работы, лишала эксперимент необходимой чистоты.

Тогда и были куплены два одинаковых атласа города с тем же Оперным театром на обложке, освещенным в четыре яруса мелкими белыми огнями, с последними сведениями касательно городского транспорта и с напоминающей сложную органическую молекулу схемой метро. Теперь свидания назначались так: Иван называл какую-нибудь улицу из приведенного в конце алфавитного списка – на удивление длинного, наполовину состоявшего из суконных фамилий малоизвестных революционеров, отчего создавалось ощущение, будто предстоит поездка к каким-то нетрезвым пролетарским родственникам, – а Таня прибавляла номер дома, наугад называя цифру; в следующий раз все происходило наоборот. Так они гадали по городу. Никто из них заранее не знал, чем окажется строение, вытянутое как билетик из лотерейного барабана. Иррациональность затеи усиливалась тем, что карты еще в советские времена были искажены: сами пропорции промышленного города оказались засекречены так, что последствия искажений, подобно последствиям полиомиелита, сказывались на структуре города как реального, так и изображенного, сообщая улицам странные вывихи и заставляя неоправданно влиять, срываясь рогами с проводов, городские неуклюжие троллейбусы.

Секретность свиданий усугубляла положение, при котором судьбе и правда приходилось присматривать за экспериментаторами, чтобы сохранить для них возможность запереться на пару часов в каком-нибудь до жалости непрочном спичечном коробке. Судьба таким образом вступила в борьбу со средой. Среда же как будто нарочно подставляла Тане и Ивану вместо наиболее вероятных жилых многоэтажек самые жесткие варианты. Так, однажды выпавший номер оказался свежестроенным особняком, что стоял на голом и горячем земляном участке, взятый в квадрат решетчатой оградой и напоминавший слона в зоопарковом вольере; пока Иван топтался, тщетно прячась среди маленьких, как петушки на палочке, молодых топольков, насторожившийся охранник из будки дважды проверил у него документы. Через пару дней случайный адрес привел Ивана на совершенно деревенскую улицу – вернее, на обрубок улицы, кончавшийся громадным котлованом, куда валились, утопая листьями в глине, жеванные черемухи. Нужный номер – грязно-розовый барак на два неодинаковых крыльца – еле держался на самом обрыве, где почва уже заворачивалась на манер свисающего драного матраца. За растя-

нутым, будто меха гармони, черной сыростью пропитанным забором дышала и брякала цепью мокрая собака; из ближайшего к Ивану ветхого окошка на него то и дело поглядывало недовольное женское лицо, словно завязанное в тугой узелок. Должно быть, чужой под окнами, никак не уходивший, вызывал у местных беспокойство, потому что через небольшое время на крыльце уселся, глядя на Ивана уже в упор, голый до пояса мужик уголовного вида. Его свисающий жир, накроенный череп, покрытый черным ворсом и какими-то белыми лысыми пятнами, показались Ивану неприятней, чем играющий в лапах металлический прут.

\* \* \*

Во время путешествий по промзонам приключения были не только возможны, но и весьма вероятны. Вокруг машиностроительных гигантов ветшали спальные районы с жилыми башнями, словно собранными кое-как из плит и битого стекла, оставшихся от других, разрушенных домов; на деревьях под ними болтались молочные пакеты, выбеленные тряпки, лиловели на просвет чернильными разводами бывшие штаны. Лица обитателей районов были некрасивы, их скулы, казалось, были изъедены ржавчиной. Возле сырых, как туалеты, станций метро, вдоль заборов, просто на голой земле тянулись стихийные рынки: пожилые женщины предлагали товары, мало чем отличавшиеся от пестревшего тут же линялого мусора. Более всего здесь было разрозненных хрустальных рюмок, стоявших в строю, как солдаты побитого войска, и поношенных детских вещичек – ярких, клочковатых, словно сшитых из шкур игрушечных мишек и собак. То и дело взгляд Крылова натывался на что-то поразительно знакомое: из детства, из родительской квартиры. Все это напоминало лагерь беженцев – вынужденных эмигрантов из разрушенного прошлого. Заводы, впрочем, были живы: в половине седьмого от проходных, куда втекала густеющим потоком вторая смена, доносились хриплые марши, пытавшиеся создавать впечатление, будто инструментами служат заводские трубы, домны, прокатные станы – весь строй механизмов славного рабочего труда.

Рядом с мрачными, как тюрьмы, зарешеченными магазинами, где продавали спиртное, отдыхала на ящиках местная молодежь. Девочки с личиками лягушек, с большими розовыми коленками были совершенно такие, с какими Крылов дружил в своем пролетарском отрочестве. Моментами у него возникало странное чувство, будто его соседки по подъезду, что, хихикая, учили подростка Крылова простым житейским вещам, не повзрослели, но исчезли без следа, целиком заместившись новыми молодыми телами – такими же непритязательными, лишенными своего телесного языка, будто тела коров и некоторых других домашних животных. Этих девочек не стоило учить, к примеру, танцам – зато в их физическом существовании была безызыкая неопровержимость, каждая из них в отличие от барышень из образованных семейств имела природное право получить в свое распоряжение одного из будущих мужчин.

Что касается мальчиков, то они, пожалуй, были слабоваты против команды, в которой двадцать лет назад Крылов держал авторитет: у этих, нынешних, наглость прославилась страхом, юные самцы рабочей молодежи стремились выглядеть декоративней самочек, крашенные волосы у них на головах напоминали морских существ вроде осьминогов или актиний. Все-таки они были агрессивны: Крылов сознавал, что из-за разницы в возрасте он для них практически покойник. Такие дети не понимают, для чего человеку надо жить до тридцати пяти: все, что их окружает, включая родителей (мать болеет, но еще похожа на живую, отец своей полуразвалившейся плотью подобен вставшему из гроба мертвецу), говорит им, что и тридцати, пожалуй, многовато. Крылов прекрасно помнил эту тоску, что различал теперь на юных малоподвижных лицах со странно скошенными подбородками. Драки были единственной формой их любви к той, какую они имели, жизни. “Подгорные” против “малышевских”, “Копейка” против “Сталеварки”: ни один чужой не мог пройти по их растресканному асфальту, они охраняли свои территории, кровью, а иногда и жизнью доказывая ценность трущобных кварталов,

где им посчастливилось родиться. Ни один философ не постиг той меры одиночества, какая грозила местному пацану, если бы он решил отречься от родного дерьма. Вот уж у кого не осталось бы ни малейшего основания жить! И поэтому никто из них не мог сказать, что для него недостаточно хороши бетонные развалины над подогретыми речками, где даже самыми лютыми зимами тонкий ледок, варившийся в пару, напоминал замоченное в порошке постельное белье. Все это надо было любить и защищать. В результате промзоны рождали патриотов. В каждом районе имелся какой-нибудь немытый памятник: скорбная женская фигура с прямоугольным бюстом, список погибших воинов, иногда совпадавший, как во сне, со списком улиц городского атласа, относившимся к этой части трюфоб.

Замечая компании тинейджеров, Крылов понимал, что, несмотря на собственную уличную юность, ему совершенно нечего сказать этим пацанам, хлебавшим вместо старого доброго пива какое-то алкогольное молоко. Ему было даже нечем похвастать перед ними: он не ехал мимо в навороченной тачке, а, сутулясь, тащился пешком. Минуя очередную молодежную плешку, он старался никак не реагировать на тяжелые взгляды, неспособные подняться выше полутора метров и неприятно трогавшие одежду, сумку, часы. Он не то чтобы испытывал страх, но ему казалось, будто его, как жидкость, переливают из сосуда в сосуд.

Было просто чудом, что он нарвался всего однажды. Шайка выслала ему наперерез дежурного клоуна – мелкого пацанчика с тонкими ручками, на которых рукава футболки полоскались, будто красные флаги. Это был герой не для драки, а для приколов; сложив ладони ковшиком, он заплясал и загундосил перед Крыловым, изображая азиатского нищего. Бить такого было неприятно, но слева уже поднимались лениво прочие бойцы, среди них двое неожиданно крупных, с большими лапами в темных мозолях, набитых обо всякую дрянь вроде здешних досок и кирпичей. Воины не спешили, но Крылову было некогда их дожидаться. Маленькому он врезал жестоко, но тот увернулся от удара, словно его естество было с огромной дырой, куда и угодил крыловский некрупный кулак. Впереди узкая колючая аллея упиралась в глухую стену, изрисованную граффити, где буквы были сделаны максимально похожими на жутких чудовищ. Но Крылову не дали добежать до тупика. Первых повисших на плечах он стряхнул, как пальто, зато другие оказались цепче, грубые руки залезли в карманы, вырывая их с подкладкой. О голову Крылова словно разбили банку с красной краской, он тоже в кого-то попал, попал, пропустил, внезапно оказался на земле и увидел одним заплывшим глазом, как разлетаются, будто помойные голуби, серые и черные кроссовки. Сделалось тихо. Тишина была тугая, как футбольный мяч, внутри нее отдельные песчинки звуков не имели отношения к тому, что окружало лежавшего Крылова и напивалось вечерней темнотой. Крылов пытался вдохнуть поглубже, но легкие до половины были залиты жидкой болью. Постепенно боль осела. Перед лицом Крылова на запудренном пылью печеном асфальте валялся атлас города, превратившийся в грязную тряпку. Это всколыхнуло в нем полузабытую злость – на уродов, на себя, на собственное тело, совершенно отвыкшее от боли и искавшее позу, в которой не горело бы место, где пинки всего чувствительней.

В несколько рывков, словно альпинист на скалу, он поднялся на ноги, вечер в глазах моментально сменился ночью. Потом опять посветлело, и Крылов увидел Таню, растрепанную, с мокрым пушком на висках и с сигаретой в трясущихся пальцах. Она смотрела на Крылова, как мог бы смотреть полководец на солдата своей разбитой армии, который почему-то поднимается живым.

– Что с тобой? Господи. О господи. Я целый час ищу тебя по кустам! – глаза Татьяны за очками горели гневом, руки ощупывали ноющие ребра Крылова, трогали толстое левое ухо, опухшее, будто насосавшийся крови паразит.

Сквозь тяжелую муть в голове Крылов отчетливо ужаснулся Татьяниной прогулке по здешним зеленым насаждениям – в сумерках, в светлом платье, дразнившем уродов, явно не пошедших по домам смотреть “Спокойной ночи, малыши”.

– А ты нормально? Все с тобой в порядке? – Крылов в свою очередь схватил Татьяну за холодные гладкие плечи. – Почему по кустам, я же не алкоголик?

– А что, скажи, мне оставалось делать? Где еще я могла тебя обнаружить?

Тут Крылов сообразил, что Тане и правда было совершенно негде его искать, кроме как в этих мусорных чащах, в окрестностях назначенного дома, на земле или под землей. Ему сделалось нестерпимо грустно от своей свободы исчезнуть из Таниной жизни в любую минуту.

– Слушай, может, мы устроимся как-нибудь иначе? Зачем нам это все? Ну не сердись, пожалуйста, успокойся, подумай, – морщась, Крылов наклонился к ее лицу, повторявшему его гримасы, будто небольшое серебряное зеркало.

Поцелуй получился болезненный, Иван почувствовал твердую полоску Таниных зубов и свои, шатавшиеся, будто щепки. Отстранившись, он удивился тому, как сильно размазалась у Тани красная помада.

– Ты не понимаешь! Ты совсем не понимаешь! – Татьяна вдруг обессилела и отвернулась, пряча выражение, подобное отчаянию. – Мы не можем быть как все. Я – не могу! У меня из обычной жизни не получилось ничего хорошего. И ни у кого ничего не вышло по эту сторону экрана телевизора. Уж можешь мне поверить!

Некрасивое пятно под носом у Татьяны странно ее меняло, делая похожей на лисицу. Вдруг Крылов сообразил, что это не помада, а его, Крылова, подсыхающая кровь.

– Но ведь я волнуюсь о тебе. Как я могу тебя защитить?

– Опять не понимаешь. Никто никого не может защитить. Что ты сделаешь против троих? А против пятерых? – Татьяна мотнула головой по направлению к дальним подъездам, откуда доносился грубый гомон и тявканье слабосильного мотоцикла. – Человек не может быть гарантом жизни другого человека. Я, во всяком случае, этого от тебя не жду.

Крылов оскорбленно замолчал. Татьяна, поднырнув ему под руку в полуоторванном рукаве, дотронула Крылова до ящиков, где недавно отдыхала пестрая шайка крысят. Теперь здесь было пусто, полоска света спускалась из зарешеченного окна магазина, будто сброшенная для побега тонкая веревка. Ивану было холодно и грустно; ему мерещилось, будто юность его смотрит из сырой дворовой темноты, будто кто-то, кроме него, сидит на ящиках, возле которых укромно притулились недопитые бутылки. Ему хотелось взять Татьяну за руку, успокоиться, уткнуться. Но Таня держалась отчужденно. Разодрав упаковку надушенных салфеток, она промокнула Крылову разбитое лицо, сразу распухшее вдвое от приторных ожогов, посмотрела на пятна, потом протерла свои окровавленные усики, снова посмотрела, словно сравнивая его и свои результаты.

Ветер с силой налетел, задирая листву, темнота припала к земле, доставая тенью, будто кошка лапой, покотившуюся банку из-под колы. Татьяна, подбоченясь, стояла у проезжей части и звонила по мобильнику. Через небольшое время показались фары такси, долго подползавшего среди заборчиков и рытвин прошлогоднего дорожного ремонта. Заплатив меланхоличному водителю, чтобы тот отвез Ивана, куда он скажет, Таня, пока тряслись и выбирались к центру, сурово молчала и хмурила бровь, а затем хладнокровно вылезла на первом просиявшем огнями перекрестке. Тут Иван, очнувшись один, сообразил, что новое свидание не назначено.

Сразу он, перегнувшись через резкую боль в животе, заколотил водителя по толстому резиновому бицепсу. Невнятно матерясь, водитель вильнул в уплотнившемся потоке автомобилей, но пришлось проехать не меньше сотни метров мимо освещенного, как манекен, автоинспектора и множества медовых и молочных дорожных знаков, прежде чем удалось развернуться. Еще издавек Иван увидел на растревоженной проезжей части длинноногую фигуру, которая то появлялась, то исчезала, будто пыль или тень на непротертом зеркале. Автомобили, визжа, чуть не протыкали ее своими жесткими огнями, но она, попавшая в паутину электрических лучей, почти не могла увернуться. Непонятно, как она узнала в ослепительном

месиве нужный автомобиль, – но уже через секунду она затеребила снаружи заднюю дверцу и почти упала Крылову на колени, в последний миг поддев на длиннопалую ступню свалившуюся туфлю.

– Знаешь, – сказала она, запыхавшись, – второй раз за вечер еле тебя нашла. Что-то не в порядке у нас в головах.

– Разве все это происходит у тебя или у меня в голове?

– По большей части так и есть. Странно, что сразу в двух головах происходит одно и то же. Нет, не трогай, здесь не расстегивается. Это просто пуговицы пришиты, для красоты.

Потом, когда водитель, припарковавшись в низком, будто арка, лиственном переулке, уткнулся в газету, они немного поработали с картой. Собственно, ничего не изменилось: точно в том же месте Таня выскочила на запестревший от ливня тротуар и, выстрелив вверх горбатым зонтом, побежала к трамвайной остановке. Немедленно такси рвануло с места навстречу незапной массе дождя, лепившегося на ветровое стекло, будто туча крупных насекомых. Застоявшийся водитель спешил избавиться от невыгодного пассажира и гнал, шуруя по лужам, дворники со скрипом отжимали мутную воду – и Крылов, чей левый глаз окончательно заплыл, удивительным образом чувствовал, что жизнь его устроена и он совершенно счастлив.

\* \* \*

Образ жизни, который Таня и Иван себе назначили, оказался не только опасным – нигде не любили подозрительных чужих, – но и необычайно утомительным. Иногда, чтобы выбраться с окраин (порой представлявших собой поглощенные мегаполисом малые городки, не совсем переваренные, со своей остаточной структурой, с цыгановатой клумбой на тихой, как больничный дворик, центральной площади), требовался весь остаток вечера. Часто Таня и Иван не успевали доехать до какой-нибудь дешевой гостиницы. Тогда их свидание состояло из мучительных поцелуев в укрытии жестких, с лазами, кустов, из отупляющих маршей вдоль шоссе, по тропинкам, напоминающим поваленные деревья, к бессмысленно далекой автобусной остановке. После таких тренировок на выносливость у Ивана и Тани уже не оставалось сил, чтобы хотеть друг друга. Они хотели всего лишь есть и утоляли голод в непритязательных бистро, запивая кислые салаты приторной колой, – после чего наступало время разъезжаться по домам.

Такой монашеский режим, который многим женщинам показался бы все же естественней, чем шляния по сомнительным номерам, Татьяне не подходил. Ей были нужны физические отношения, потребность эта была столь суровой и настоящей, что при удаче Татьяна не обращала внимания ни на заполнявших третьесортные гостиницы торговых кавказцев, ни на землистые, словно взятые из могилы, мерзкие простыни. Но она упрямо держала посты, никогда не жаловалась на усталость; ее костлявые и нежные ступни, которые Иван, бывало, гладил, удивляясь скрипичным формам этого совершенного творения природы, натирались ремешками до мокрых мозолей, а потом покрывались словно бы известью и грубыми ракушками.

Ивана волновало и трогало, что все специальные трудности, включавшие Танин отказ от частой близости с ним, все-таки в каком-то высшем смысле преодолевались ради него, из чувства к нему. Однако тут угадывалось и что-то избыточное. Казалось, что помимо Крылова реального, на которого можно иногда не обращать внимания или даже злиться на него по пустякам, существует и Крылов воображаемый, в виде идеи, – и этот последний принадлежит уже не самому Крылову, но исключительно женщине, лучше знающей, как надо с ним обращаться. Именно этого другого Татьяна питала своими самоотверженными жертвами; Крылов же, у которого отняли часть его самого, испытывал вместе с неправдоподобным счастьем и странное чувство пустоты. Как всякий рифейский человек, он принципиально не доверял никому и ничему и теперь хотел бы знать, что именно делает Татьяна с присвоенной долей его существа. То есть он все больше и больше хотел ее контролировать.

Пару раз он попытался осторожно выпросить, не слишком ли Таня устает. Конечно, она уставала, она заметно похудела и перестала носить каблуки, предпочитая для экспедиций плоские сандалии, в которых шаг ее сделался немного утиным. Но на расспросы Крылова она энергично мотала головой и цепче впивалась ему в рукав, словно желая продемонстрировать силу, не убывающую от опасных и тяжелых путешествий.

Зная уже, что самый опасный этап – это торчать у найденного дома, провоцируя местных обитателей и, хуже того, блюдущих территорию ментов, Иван старался сделать так, чтобы Таня его не ждала. Ближе к пяти часам, когда солнечный свет, еще дневной, становился тяжел и сквозь сырые шумы усталой камнерезки начинали пробиваться, забирая в переулок, трамвайные звонки, Крылов норовил сбежать из мастерской. Бывало, он на полуслове прерывал хозяина, все подступавшего к нему с обиняками, явно прослышавшего об удаче Анфилогова. Камни, привезенные профессором в прошлом году и доставившие Крылову ни с чем не сравнимый восторг, ушли по каналам, абсолютно для толстячка недоступным. Тем не менее жулик что-то узнал – или же почуял, подобно нервной аквариумной рыбе, сейсмические сдвиги анфилоговского бизнеса. Теперь он пытался вызвать Крылова на общение, изобретая любезные гримасы и даже показывая темную бутылочку с какой-то алкогольной касторкой, которую, будучи непьющим по состоянию здоровья, всегда носил на себе, как носит взрывное устройство камикадзе-террорист. Как нарочно, заказчики, желавшие выяснить, когда же будут изготовлены агатовые вставки для их дурацкой штампованной продукции, тоже подтягивались ближе к пяти. Чтобы избавиться от этих людей, Крылов вылезал в покрашенное толстой краской туалетное окно, обрушиваясь в пряные дикие заросли мелкой ромашки, где собачьи экскременты пахли, будто подгнившие фрукты. Дальше, за углом, была свобода Татищевского проспекта, по которому носились, бряцая, как ящики водки, допотопные трамваи, а наверху по эстакаде протягивались с басовым скрипичным звуком скоростные магнитные поезда. Часы над Старым Пассажем, желтые и выпуклые, размером с луну, всегда показывали время на десять минут меньше расчетного.

Однако на пути Крылова город создавал свои препятствия: внезапные отмены транспортных маршрутов, автомобильные пробки, двигавшиеся от светофора к светофору подобно ртути в гигантском термометре. В результате изредка случалось, что Таня приходила первой. Сильно опаздывая, Иван высматривал не номера домов, но ее высокую фигуру, бывшую всегда хоть на полтона, но бледнее других человеческих силуэтов, попадавших в поле зрения и тут же исчезающих. Иногда, настроив глаз на светлое, он принимал за Таню какой-нибудь женственный просвет, буквально воздух, и устремлялся к иллюзии, теряя последний запас истекающих минут. Увидав ее наконец стоящей в тени, Иван поражался тому, какой потерянной выглядит она: буквально чьей-то потерей, которую может присвоить всякий прохожий. Сумма утрат, то есть сумма предыдущих свиданий, с силой ударяла в душу, и Крылов максимально ускорял шаги, подпрыгивая при столкновении с неясными встречными. Она же оставалась неподвижна, хотя и видела бегущего Крылова. Только в последний момент она делала навстречу ему коротенький шажок – и сразу ей одной присущим изворотом прикинула и притиралась, закрывая глаза для первого поцелуя, сложного, как осязание слепого. С чувством, будто женщина выпила у него половину мозга, Иван спешил ее увести – еще зажмуренную, разомлевшую, – но напоследок незаметно оглядывал местность, обязательно засекая источники опасности в виде двубортных секьюрити у неизвестной принадлежности железных воротец или их возможных оппонентов – угрюмых крепышей с обритыми головами, будто не с первого раза посаженными на короткие шеи, отчего на затылках образовались неаккуратные складки.

Иногда Крылову делалось досадно, что сама Татьяна ничего не боится. Она держалась абсолютно безмятежно и устремлялась туда, куда Крылов, будучи один, вряд ли бы нацелился идти. Тогда он осознавал, что его сороковник – уже далеко не первая молодость. Неопрятные темные парки с исчезающими тропинками, свалки пустых, как чемоданы, автомобильных

остовов, подозрительные тлеющие подвальчики – все это заставляло Ивана напрягаться. Как ни пытался он вспомнить себя пацаном, охотно шедшим именно туда, откуда сквозило приключением, – он ничего не мог в себе разбудить. Сколько лет Татьяне? Этого он не знал. Она была как будто молода – но при этом совершенно без возраста, блеклость ее создавала дымку, седина если и пробивалась уже в ее грубоватых, как бы заледенелых волосах, совершенно терялась в их естественном седом отливе. Тане могло быть и тридцать, и пятьдесят, и страшно подумать сколько. Ее совершенный череп, угадываемый сквозь нежные ткани гораздо явственней, чем это обычно бывает у человека, не был образом смерти. Скорее он напоминал о скуластом языческом идоле – и непостижимым образом добавлял Татьяне привлекательности, давая понять, что внутренняя красота не обязательно душевная, что красивым в человеке может быть, к примеру, скелет. Минутами Крылову казалось, что Таня в каком-то – вовсе не в христианском – смысле бессмертна. Этим могло объясняться ее бесстрашие в городе, где обитатели, в отличие от граждан более благополучных территорий, предпочитали ходить по неосвещенной стороне ночных переулков, потому что под фонарями были отлично видны, а сами не различали опасности в сгущенной темноте – и не могли рассчитывать на помощь ленивой и удивительно злобной милиции.

Собственно, у Крылова было очень мало сведений, чтобы как-то объяснять себе Татьяну, – и потому он не имел возможности на нее обижаться. Он не был способен, по ее примеру, присвоить какую-то часть ее существа. Но иногда Крылов смотрел на женщину и понимал: даже если они проживут совместно не один десяток лет, и тогда он не будет знать ее лучше, чувствовать ее ближе, чем вот в эту минуту – на сломанной парковой скамье, или перед узкой, еще не отпертой дверью одноместного номера гостиницы, или под кипящим дождем на остановке, или за столиком летнего кафе, где она подносит к губам пластмассовый мягкий стаканчик с питьем, а Крылов глядит на нее и не может очнуться.

\* \* \*

Иногда бывало так, что по пути к назначенному месту Иван замечал Татьяну в общественном транспорте. Тогда он старался как можно дольше себя не обнаруживать. Ему казалось, будто он внезапно проникает туда, где Татьяна существует без него: попадает в мир, заказанный ему, и видит Таню настоящую, не подозревающую о том, что он уже здесь и смотрит на нее из гуши пассажиров, бросаемых вверх и вниз жесткими встрясками автобусного днища.

Он вынужден был признать, что мир, в котором Таня пребывает без него, прекрасен. В этом мире люди, включая тех, что сдавливали Крылова в автобусе, имели отношение именно к Тане – могли оказаться или стать ее соседями, родными, сослуживцами; поэтому Крылов, держась за скользкий поручень и ощущая себя в набитом салоне будто вешалка с костюмом в недрах платяного шкафа, переживал просветы запредельного одиночества – подтверждаемые пустотами низкого пейзажа, проходившего за пыльными автобусными стеклами и напоминавшего остатки меда, выскобленного ложкой до самого дна. Был один момент, когда мужчина с крепким, как репа, затылком, развалившийся рядом с Татьяной на маленьком сиденье, вдруг представился Ивану мифическим мужем, для чего-то сопровождавшим жену на свидание в спальный район. Через две остановки, однако, мужчина вскочил, обнаружив на широкой, с толстыми кругами морде совершенно детский курносый носик, и попер, цепляясь майкой, к маленьким дверям, в которые и выпал боком, едва успев утянуть за собою разболтанный, делавший жевательные движения рыжий портфель.

Обычно Ивану не удавалось таиться до конца: длинный Татьянин глаз его обнаруживал, и лицо у нее становилось точно такое, как в момент пробуждения от недолгой гостиничной дремы. Потянувшись, она вылезала к нему в тесноту (место ее немедленно заполнялось подкошенной тушей с наваленной поклажей), и Иван, обхватив ее тонкие ребрышки, вместе с нею



припрыгивал на многоугольных и крепких дорожных препятствиях. Все-таки они не сходили на ближайшей остановке, чтобы устремиться на поиски гостиницы, но доезжали до условленного места: им словно требовалось отметить у кого-то третьего, которому, собственно, и было назначено. Вдвоем обострялась странность положения, при котором они упорно, то и дело расспрашивая плохо одетых и плохо понимающих прохожих, искали загаданный адрес и при этом никогда не входили в найденное здание. Обитатели дома, то есть законные обладатели адреса, были не теми, к кому они могли приехать в гости, и сами шарахались прочь, ни за что не давая себя обогнать на пути к укрепленным подъездам; их желтоватые стесанные подошвы совпадали по цвету с характерной для окраин глинистой землей.

Собственно говоря, Иван и Таня не представляли, чем следует заполнить те несколько минут, что все же следовало провести возле с таким трудом обнаруженного здания.

– Мне кажется, будто мы когда-то жили здесь вдвоем, – говорила Таня, осматривая очередной многоквартирный блок, криво сшитый из стандартных, с балконами и без, бетонных плит.

– У нас феномен общей ложной памяти, – пытался пошутить Иван, а Таня от этого становилась грустна, тихо подбирала с земли какую-нибудь яркую бумажку, пробку, мастерила плиссированную куколку.

Крылов замечал, что шутки его погружают Таню в странную печаль, как будто они прощаются на вокзале, расстаются навсегда – и нечем заполнить последнюю паузу перед отправлением поезда. Паузы перед загаданным домом, найденным вместе, такими и были. Одновременно присутствие того, кто свел их и присматривал за ними, ощущалось именно здесь. Оно угадывалось в таинственном облике одинокой, на своем культурном слое стоящей скамейки, в розовых ленивых звездах, образуемых перестиланием вечеряющих листьев, в корке от детского мяча, этого съеденного каким-нибудь позапрошлым летом апельсина пустоты; бывало, что длинные вечерние тени, образуя строку курсива под прямым и грубым шрифтом улицы, обещали – как вот печатаются ответы под загадками в детских журналах – какой-то ответ на загадки вещей. Но случалось, что третий не являлся на встречу, ждать его было бессмысленно. Тогда Татьяна говорила, что надо как-то пометить место, и бросала в лохматые газоны мелкие монетки.

Из этой суеверной практики у Ивана родилась идея пометить ее саму. Игнорируя обычную просьбу замужних любовниц не оставлять следов (Татьяна, впрочем, никогда не говорила этого вслух), Иван вероломно присасывался к ее податливой коже, пившейся как тонкая сметана с ее гармоничных, дивно отшлифованных костей, отчего на малокровной белизне вспухали серповидные синяки. Однако метки эти явно проходили невостребованными, муж, похоже, не обращал на них никакого внимания; через небольшое время синяки желтели и делались похожи на никотиновые вытяжки, какие бывают на сигаретных фильтрах.

Неудовлетворенный эффектом, Иван почти при каждой встрече делал Тане мелкие подарки. Тут тоже крылся коварный расчет: изменницы, поголовно любившие безделушки и ожидавшие от Крылова, поскольку тот работал с ценными камнями, сокровищ и сюрпризов, после не знали, как им легализовать браслет или колечко; иные вещицы, подернутые от неупотребления какой-то горькой смолкой, до сих пор валялись у Крылова в рабочем столе.

Однако Таня спокойно и с достоинством принимала украшения, которые Крылов, через лысую голову хозяина мастерской набирал у работавшего на фирму испитого ювелира по его чрезвычайно сходной оптовой цене. Оправы у вещей были недорогие, напоминавшие изогнутые и переплетенные канцелярские скрепки, но уж камни Крылов подбирал со вкусом. Здесь были моховые агаты, являющие глазу мягкий, с отсырелым снегом мартовский лес; агаты с жемчужинами, где голубоватую миндалину обрамляли похожие на крупную соль кристаллики кварца; пейзажные яшмы с картинами извержений древних вулканов и яшмы парчовые, напоминающие таинственную жизнь под микроскопом. Здесь были кабошоны тигрового глаза, в кото-

рых на свету словно бы сужались кошачьи вертикальные зрачки; корочки уваровита химически-зеленого насыщенного цвета; персиковые, с мякотью, сердолики; немного настоящего шелкового малахита, отличного даже на взгляд профана от скучных, как линолеум, заирских камней. Все это, добываемое прямо из окружающей бетонный город старой земли, стоило сущие копейки и закупалось Крыловым еще на стадии сырья – после чего он сам распиливал и шлифовал отобранные камни и тихо договаривался с алкоголиком, никак не могущим пропить талант, сидевший у него в руках.

Что же касается Татьяны, то камни словно примагничивались к ней и смотрелись уместно, теплее и тяжелее на ее холодноватой коже. Татьяна явно не скрывала украшений и носила их постоянно, являясь на свидание разубранная, будто Хозяйка горы. При мысли, что безделушки побывали там, где Татьяна живет без него, Ивана охватывало странное волнение – и постепенно провокация уступила место мелкому шаманству. Страстно желая получить какую-нибудь вещьцу из запретного Татьянина мира (так американцы из НАСА, запустившие пилотируемый “Вояджер-18”, мечтали об образцах со спутников Сатурна), Иван рассматривал свои подарки как сувениры наоборот. Несколько дней, прежде чем отдать, он их таскал в карманах, воображая, будто они уже оттуда; так получалась инверсия времени, рокировка будущего и прошлого – отчего у времени обнаруживался как бы ресурс вторичного использования. Крылову представлялось, будто камни указывают ему местоположение Татьяны, испускают тонкие радиоволны, которые пеленгует его до крайности напряженный мозг. Иногда Иван буквально слышал их прерывистый писк – и словно бы видел показанный скрытой телекамерой угол прихожей, маслянистую темноту большого зеркала, панораму спальни с обширной, на рояльных ножках, супружеской кроватью и частью окна, по которому дождь, как бы наскоро очеркивая по линейке водяным карандашом, проводит косые следы.

Действительно ли то была Татьянина квартира, которую Иван все начинал и начинал своей шаманской аппаратурой, или так работало воображение, выдавая Ивану картины сомнительного качества? Будучи в здравом уме, Иван склонялся ко второму – хотя бы потому, что интерьеры, возникавшие в его мозгу, были безлюдны. Домашний адрес Татьяны, который по условиям эксперимента был строго засекречен, также оставался недоступен: сигнал, рассеиваясь, шел откуда-то из Завокзального района, застроенного гранеными башнями новых кондоминиумов, а может, из самого Паркового, где обитал со своими рыбками, коллекциями минералов и пыльной библиотекой профессор Анфилов. Чтобы определить точнее, следовало пеленговать сигнал с высоты – оттуда, где изредка болтались, постукивая на манер допотопных швейных машинок, милицейские вертолеты, – но сама идея была чересчур бредовой, чтобы прилагать серьезные усилия к ее осуществлению.

– Кстати, возьми, это тебе, – однажды сказала Татьяна, зачерпывая горстью из сумки что-то металлическое.

Дело было в самом центре города, куда им по жребию посчастливилось попасть; близко, перекрывая шмелиное гудение проспекта Космонавтов, шумела историческая плотина, воды ее, распространяя запах черной деревянной бани, пылили над столиками шашлычной, над скосами цветников, похожих на детские раскраски, – но надо было еще добираться до гостиницы с приемлемыми ценами и снисходительной администрацией. То, что Татьяна протянула Ивану через тарелки с угольным мясом, оказалось связкой ключей: неожиданно тяжелая бряцающая вещь состояла из магнитной пластины, какими открываются подъезды, и четырех произведений слесарного искусства, среди которых выделялся один, похожий на дореволюционный “ер” и казавшийся на ощупь тверже остальных.

– Что это? – спросил Иван, хотя уже догадался, и сердце его подпрыгнуло.

– Ключи от моей квартиры, – пояснила Татьяна небрежно, шурясь сквозь помутневшие от мороси очки на темный пивной водопад и вечно мокрый памятник основателям города, похожий издали на двух оловянных солдатиков.

– А муж? – спросил Иван, не удержавшись, и тут же пожалел при виде Таниного влажного лица, на котором брови поехали вверх, а очки заскользили вниз.

– Мой муж – моя проблема.

– А если я случайно узнаю адрес?

– Не узнаешь.

– Все-таки, зачем ты мне даешь ключи? Я же вижу, что они не запасные, комплектом кто-то пользовался.

– Ну, так, на всякий случай... Считай, что просто сувенир.

Между тем бесконечное летнее время, казавшееся круглым, как наполненный самим собой небесный купол, все-таки шло. Деньги, выданные Анфиловым на оборудование, но пущенные на гостиничные номера и ужины в барах, таяли еще быстрее. Что-то повредилось в самоощущении Крылова. Рабочие часы, проводимые без Тани в камнерезке, сделались тягостно ненужными: душа его была стеснена, он замирал в сутулых позах над тусклыми заготовками, перебирая камешки бесчувственными пальцами, отчего бирюльки становились липкими, будто леденцы. Каждый день на рабочем столе у Крылова была одна и та же картина, надоевшая ему и вызывавшая чувство полного бессилия. Он понимал, что в своем состоянии не зарабатывает даже на жизнь и существует взаймы – ежедневно занимает что-то у будущего, иллюзию наступления которого создают вечера. Вытягивая из анфиловской пачечки очередную сотню, Крылов старался не шупать конверта – но все-таки настал момент, когда от жирной суммы осталось несколько бумажек, которых не хватило бы теперь даже на распиловочный станок.

## Часть вторая

Рифейские горы на рельефном глобусе похожи на старый растянутый шрам. Такой особенный глобус имелся некогда в краеведческом музее и напоминал пустыми выпуклостями картонную маску. Неуклюжую махину, забранную четырьмя деревянными ребрами, можно было вращать: если сильно погладить глобусу шершавый бок, он совершал с плаксивым скрипом три-четыре оборота, после чего, перевалившись в последний раз через собственную ось, падал Южной Америкой вниз, и там, внизу, долго не мог успокоиться какой-то раздражительный мелкий предмет. Мама юного Крылова, хотя была в ту пору тридцатилетней женщиной на тонких каблуках, работала в музее старушкой: сидела сбоку от чудес на обыкновенном стуле и не позволяла трогать руками коричневый, словно крашеный половою краской скелет ископаемого мамонта, в котором не хватало костей и единственный бивень походил на сломанную лыжу с торчащей вперед деревянной щепой.

Но не глобус, и не мамонт, и не опухшая кобра в зеленом спирту, и не пыльные макетки на доисторические темы, расположенные в ящиках размером с телевизор, привлекали юного Крылова. Его воображение притягивали кристаллы. Они не только покоились в витринах, в картонных гнездах, устеленных ватками, но и высились в сенях музея, уравнивая его чугунную узорчатую гулкость своим абсолютным, цельным безмолвием. Самый мощный хрусталь, где словно таял, превращаясь в воду, рыхлый и радужный каменный снег, был выше пятиклассника Крылова на все свое трещиноватое тупое острие. Не менее удивительны были черные морионы: две коренастые друзы, точно рубленные топором из застывшей подземной смолы. В дымчатых кварцах, именуемых волосатиками, виднелись сквозь чайную желтизну словно бы пучки железных иголок, колкие отходы парикмахерской стрижки. Бока у кристаллов, если глянуть на них под зеркальным углом, были кое-где заштрихованы, как учат штриховать фигуры на уроке рисования, – а иные были с полированными заплатами, словно прошли под землей капитальный ремонт.

Конические хрустали, обрубленные под корень и перенесенные на постаменты бурого музейного сукна, в полной мере обладали качеством, которое завораживало юного Крылова с самых первых проблесков его сознания. Качество это было прозрачность. Ранние воспоминания человека имеют происхождение смутное и смешанное. Когда Крылов смотрел по телевизору нечастые сюжеты о древней эмирской столице, где прошли его первые годы, ему казалось, будто он не жил когда-то среди этой гигантской глазурированной керамики и грубой, как окисленная медь, азиатской растительности, но видел все это во сне. Сон о раннем детстве был живуч и вздрагивал от одного лишь вида белого и твердого, как мрамор, винограда на фруктовом прилавке под жестким рифейским снежком – но тут же западал обратно в подсознание. Эпизоды, доступные памяти взрослого Крылова, отчасти состояли из рассказов родителей, отчасти из реставраций воображения: выделить крупницы подлинного, безусловно своего не представлялось возможным.

Только один эпизод был, будто нашатырем, пропитан реальностью. Стоило захотеть его увидеть – и в мозгу немедленно вспыхивал ивовый куст над зеленой, как мыло, арычной водой, а в руке оказывалась горбатая, должно быть от бутылки, краюха синего стекла, сквозь которую вспышки солнца на арыке походили на электросварку. По лезвию стеклянного куска было размазано липкое, на пальце, жужжащем и толстом, вылезала, будто из прикрытого глаза, жирная красная слеза. Кто был тот пузатый знакомый человек, что наклонялся сверху, обдавая запахом пота сквозь чистую, раскаленного белого цвета рубаху? Он требовал немедленно выбросить, отдать ему стекло, а юный Крылов, весь измазанный в крови, будто в шоколаде, упрямо держал находку за спиной и отступал в горячую, как брызги чая, лиственную тень. Он с невыразимой ясностью чувствовал тогда: синий осколок заключает то, чего почти не бывает в окружаю-

щем простом веществе, – прозрачность, особую глубокую стихию, подобную стихиям водной и небесной.

Собственно, с этого эпизода Крылов и помнил себя – осознавал себя как единую человеческую непрерывность. В минуты потери смысла и распада судьбы он, зажмурившись, пытался увидеть вспышку того сладчайшего синего света – что достигалось особым поворотом внутренней оптики, при котором прозрачность была наиболее активна. Обнаружив свечение, Крылов восстанавливался или, по крайней мере, убеждался, что он – это по-прежнему он. Методом сложных опосредований, каким владеет поверх человека человеческая память, Крылов через прозрачность осознал, что никакое детство не бывает социалистическим, а бывает только особым миром, волшебным домиком внутри стеклянного шара, и поэтому все его ровесники, в сущности, свободны; осознание, еще подспудное, помогло ему превратиться в резкого рифейского пацана и не бояться ни ментов, ни озлобленных, с перепачканными мелом покойничкиными лапами школьных учителей.

Должно быть, тяга к прозрачному, к тайне самоцвета, впоследствии вписавшая Крылова в коренную рифейскую ментальность, изначально была порождением сухого и плотного азиатского мира, где вода ценилась особо, где все земное под раскаленным небом делилось на то, из чего, казалось, можно было натирать красители, и неокрашенную глухоту. Прозрачность воспринималась юным Крыловым как высшее, просветленное состояние вещества. Прозрачное было волшебством. Все простые предметы принадлежали к обыкновенному, этому миру: как бы ни были они хитро устроены и крепко запаяны, можно было вскрыть и посмотреть, что у них внутри. Прозрачное относилось к миру иного порядка, вскрыть его, попасть вовнутрь было невозможно. Однажды юный Крылов попробовал добыть из тетушкиной вазы ее стеклянный оранжевый сок, заключавшийся в толстеньких стенках и бывший намного лучше наливаемой в вазу бесцветной воды. Днем на балконе на предусмотрительно расстеленной газете юный Крылов ударил вазу молотком, отчего пустота ее взорвалась, будто граната из фильма про войну. Однако осколки, какие не улетели в фыркнувшую чинару и под старые тазы, были так же замкнуты в себе, как и целая вещь. Выбрав самый лучший, донный, с наибольшей густотой цвета, юный Крылов продолжал его мозжить на лохмотьях засеребрившейся и зашершавевшей газеты, пока не получился абсолютно белый жесткий порошок. Цветной в порошке была только его, Крылова, нечаянная кровь, похожая на разжеванный изюм. Прозрачности, ради которой затевался опыт, в порошке не осталось ни капли.

Эксперимент с получением порошка произвел на Крылова гораздо большее впечатление, чем следовавшая за этим отцовская порка. Он усвоил, что прозрачное – недоступно и, как все драгоценное, связано с кровью. То, что он раскопал про камни в душевной от бумажной ветоши детской библиотеке (а Крылов почти не помнил себя не умеющим читать), подтверждало находки его интуиции. Великий Могол, Эксельсиор, Флорентиец, Шах – имена мировых алмазов звучали для него такой же музыкой, какой для романтиков иного склада звучат названия мировых столиц. Знаменитые камни были героями приключений наравне с д'Артаньяном, капитаном Немо и Кожаным Чулком.

Между тем у матери и тетушки также имелись драгоценности. Крупные серьги на тонких золотых крючках с бледно-голубыми камнями, в которых заключалось больше узоров, чем в картонном глухом калейдоскопе; четыре кольца – одно, помятое, зияло пустой почерневшей глазницей, зато в других по-кошачьи жмурились дивные прозрачности. Юный Крылов был так же уверен в высокой стоимости этих вещей, как и в том, что картина художника Шишкина “Утро в сосновом лесу” висит у соседей Пермяковых в зале над их ухабистым диваном, твердая ветхость которого с силой воскресала в памяти, когда несколькими годами позже юный Крылов тайком исследовал музейные чучела оленей и волков. После, начитавшись, Крылов узнал, что картина на самом деле хранится в Третьяковской галерее. В реальность Третьяковки верилось плохо, соответственно, исчезла из реальности и сама картина Шишкина: мир пред-

стал перед юным Крыловым чередой копий без оригинала. Но даже и после разочарования в репродукции вера в драгоценности, хранимые в потертой, крапивным бархатом обтянутой шкатулке, осталась цела.

Юный Крылов понимал из разговоров взрослых, что все они зарабатывают мало. Почему-то меньше всех зарабатывала тетушка, считавшаяся красавицей. Она имела обыкновение, сильно выпятив ребра и натянув на шее тонкие жилки, обхватывать себя руками за талию, так что пальцы почти встречались в измятом шелке сорочки; волосы ее, гладко обливавшие спину до самого пояса, поднимались за расческой и стояли в воздухе, будто слоистый дым отцовских папирос. Она же первая и потеряла работу: однажды пришла домой совершенно не своей походкой и на все расспросы отворачивалась к стенке. Старый холодильник “Юрюзань”, похожий на машину “запорожец” без колес, который мама с тетушкой все мечтали выбросить на помойку, торжествующе хохотал. Однако юному Крылову представлялось, что и этот холодильник, и неновые, местами похожие на крашеную вату красные ковры, и отсутствие своей машины, на что сердился по субботам за приспущенной газетой неворующий отец, – все это понарошку, потому что в семье на самом деле хранятся сокровища. Юного Крылова не оставляла уверенность, что все прозрачное стоит бешеные деньги, – а уж камни в золотых украшениях не какие-нибудь пуговицы. По существу, он видел в них предметы магические. Само присутствие этих камней возводило мать и тетушку из обыкновенных тружениц с плохо пахнущими кухонными руками в ранг титулованных дам. Некоторое счастливое время юный Крылов прожил в уверенности, что если вдруг стряется беда, то камни, проданные каким-нибудь сказочным купцам в пышных, как белые розы, тюбанах, выручат и спасут.

\* \* \*

Не выручили и не спасли. Все изменилось: сделалось таким, словно было не настоящим, а виделось в зеркале. В этом зеркале стало непонятно, кто что делает и кто куда идет. Юный Крылов, еще не владея подходящими словами, чувствовал мозжечком дезориентацию вещей; он замечал, что у многих людей на улице теперь несвоя походка. Иные, нехорошо говорившие по-русски, за счет присутствия зеркала как бы удвоились: встречая во дворе глумливого, с железными пальцами Магомеда или сизоголового Керима с шестого этажа, юный Крылов ощущал сведенными лопатками, что, будучи перед ним и разговаривая с ним, они одновременно стоят у него за спиной. По вечерам отключали электричество; все сидели на кухне вокруг единственной свечки, распускаясь, сгорая, в теплую лапшу; в книге, кое-как пристроенной среди грязной посуды, шевелились на желтых страницах черные картинки. Отец, вытирая пиалу жирной корочкой хлеба, рассказывал в который раз, что человека из его учреждения, который делал против отца какие-то “некорректные выпады”, ни за что зарезали на улице.

Несколько раз в квартиру Крыловых приходили чужие: двое, по виду с рынка, оба в одинаковых пиджаках, словно наклеенных изнутри на покоробленный картон. Чужие ходили по дому, осторожно и дотошно осматриваясь, с видом, будто водят в прятки и в любую минуту готовы броситься к исходной стенке. Один, с висками из-под тюбетейки как седые угольки, о чем-то спрашивал испуганную мать – сердитым женским голосом, то и дело повышавшимся до вопросительной плаксивости; другой молчал и как будто думал, морщины у него на лбу были точно такие, какие бывают спереди на мятых штанах. Однажды эти двое, которых родители между собой называли “покупатели”, привели с собой абсолютно дряхлого согнутого дедушку, телом похожего на одетую человеком тощую собаку. Пока молодые, словно отчаявшись отыскать попрятавшихся игроков, уже без всяких церемоний лазали под кровать и в стенные шкафы, дедушка сидел на табуретке, составив кривые ноги в запыленных мягких сапожках бессильным калачиком. Дедушка совершенно не походил на того богатого купца, которого воображение юного Крылова создало с помощью арабских сказок и фильма про ста-

рика Хоттабыча. Его халат, подпоясанный грязным ситцевым платком, прогорел от зноя до ключев коричневой ваты, борода была как нитки на месте оторванной пуговицы. Случайно заглянув ему в глаза, в которых скопился какой-то тепловатый воск, юный Крылов почувствовал – так ясно, как будто сам на секунду сделался прозрачным: дедушке все равно, что будет с ним самим, и с этими молодыми, и с русскими обитателями оскверненной квартиры, которые для дедушки были не больше чем тени на окруживших его непривычных стенах. Закончив очередной осмотр, чужие подняли ветхого джинна под растопыренные локти и повлекли, приспособливаясь к его матерчатым шажкам, – а из прихожей была видна через площадку раскрытая дверь Пермяковых и ожидающие в ней тревожные соседи. Покупателей было меньше, чем продавцов.

С этой поры начался переезд. Далеко не все привычные вещи, что исчезали здесь, затем появлялись там: в холодном северном городе, где летняя зелень деревьев была как плащи от дождя, в крошечной квартире, еле освещаемой окнами размером с раскрытую газету. Исчезла и тетушка – принцесса, подружка, красавица с круглым лицом, имевшим свойство светиться в темноте, – пропала бесследно, и юный Крылов понимал по глухому тону новой квартирной тишины, что спрашивать про нее ни в коем случае нельзя. Оказалось, что драгоценности целиком ушли, с добавлением еще каких-то маминых сбережений на оплату контейнеров, в которых мебель прибыла покалеченной и страдала теперь хроническим вывихом суставов – а шкаф, в котором прежде висели цветные тетушкины платья, норовил распасться, как распадается на цирковой арене разрисованный короб лощеного фокусника.

Чувство, которое испытывал юный Крылов, можно было назвать взрослым словом “разочарование”. На самом деле то было сборное ощущение, похожее, при живых родителях, на острое сиротство. Он помнил утро отъезда с воздухом будто куриный бульон – ребята свистом вызвали его во двор, а он был в новом полушерстяном костюмчике, из-за которого трава и старые розы у подъезда тоже казались полушерстяными; помнил плацкартное купе, насквозь пронизанное грустью длинного заката, низко лежавшего над степью, и непривычный вкус кривых зеленых яблок, купленных на станции, – вкус хлопчатной ваты с аптечным лекарством. В то же время он как будто не помнил ничего. Жизнь разделилась на до и после. Долго юный Крылов не мог привыкнуть к тому, что лето здесь какое-то ненастоящее, словно разогретые остатки от прошлого года, когда его еще не было в этой квартире и в этом дворе, по которому никто не бегал босиком.

Сколько ни добивались от него родители, почему он сделал ту ужасную вещь, юный Крылов предпочитал отмалчиваться. Он-то ведь не спрашивал, почему они запрятали единственную тетушкину фотографию как можно дальше, под технические паспорта от несуществующих уже стиральной и швейной машинок, хотя подозревал нечестную игру – желание больше не видеть человека, которого почему-то бросили одного. Вечером, в опасной близости от родительского прихода с работы, он вдруг полез в тугую, набитый до отказа подзеркальный ящик. Поспешно раскопав неинтересные бумаги, уже испугавшись, что в этих лохмотьях не обнаружится искомого, он вдруг увидел тетушку – снятую в том самом ателье, куда водили и его, стоявшую, будто певица на сцене, на фоне складчатой драпировки, которую юный Крылов запомнил красной, а на снимке она оказалась коричневой. Сразу желание украсть у родителей единственную копию, лишенную оригинала, сменилось другим. Чувствуя, как давят на нос подступившие слезы, Крылов разорвал фотографию на клейкие клочки, часть из которых оказалась на полу. Затем он с трудом откупорил сырую форточку и выпустил тетушку из кулака, как маленькую птицу, на темный, шаркающий брюхом по земле октябрьский ветер, чтобы она, преодолев влачащуюся массу воздуха и отсырелых листьев, улетела на юг. Он не заметил, что некоторые кусочки, трепеща, отпрянули в комнату и запутались, будто конфетти, у него в волосах.

В общем, когда родители, усталые после автобуса, затащили себя и продуктовые сумки в абсолютно тихую неосвещенную квартиру с электрической моросью на незашторенных окнах и преступником, спрятавшимся в темном туалете, все улики были налицо. Другой такой отцовской экзекуции юный Крылов не помнил: ремень обжигал его стиснутые дрожащие ягодички, и от боли он обмочился на липкую клеенку, предусмотрительно брошенную отцом на привезенную из дома новую тахту. Мать, сжимая голову в измятой парикмахерской прическе, сидела за пустым столом, перед одинокой вазочкой с мармеладом и остатками крашеного сахара, – и так оставалась сидеть, когда преступник, придерживая штаны и распиная стулья, увалился опять в туалет, где у него за мусорным ведром хранились обтрепанные спички и завернутые в бумажку пахучие окурки.

\* \* \*

Собственно, юного Крылова потрясло тогда не поведение родителей, а открывшаяся в нем самая способность совершать ужасные поступки. Впоследствии он развивал эту способность в школе и во дворе, славном пьяными безобразиями, подростковыми разборками и громадной лужей в форме рояля, что возникала весной и осенью на одном и том же месте, а в ходе опасных опытов с украденными в химкабинете веществами не раз горела и взрывалась, чихая вспененной водой на железные гаражи. После переезда юный Крылов, что называется, отбил от рук. Перемирие действовало только на территории музея: там, если мать не слишком допекала, Крылов спокойно делал уроки в служебной комнатке с толстыми стенами и наклонным окном, где, словно хлеб в печи, сидело малиновое солнце зимнего заката или таяли весенние ветки на мартовской синеве; во все же остальное время он вел самостоятельную жизнь.

В отличие от детей всех прежних родительских знакомых, перебравшихся в холодную Россию, Крылов на новой родине почти не болел. Однажды он, правда, свалился с ангиной и сутки бредил в потолок с ощущением, будто сумасшедший окулист все подбирает и подбирает ему, чтобы он лучше видел раздвоенную трещину, слишком резкие и разные очки. Когда же мать запаковала его в отвратительно хрусткий компресс, он оторвал от подушки намагниченный затылок, по которому катался шарик, и собственными свинцовыми глазами убедился, что завернут в ту самую клеенку, что бросили ему когда-то в качестве подстилки, – после чего стремительно пошел на поправку. Больше его не брали ни глухие морозы, превращавшие промышленный город в тусклый зачарованный сад, ни знаменитые рифейские дожди со снегом – холодная овсянка на воде, на вкус отдающая углем; на переменчивом северном солнце он загорал до азиатской черноты. Во всем, что не касалось здоровья, подросток Крылов стал сущим наказанием для своих родителей и при малейшей попытке поучений подрывался из дома, не успев зашнуровать свои единственные, краденные на оптовке армейские ботинки.

Вместе с пацанами-адреналинщиками он катался на товарняках, тяжким шагом тащившихся мимо выстроенных в длинную линию серых домов, или плющил под вагонными колесами мелкие железки, в которых будто оставались часть чудовищного веса, содрогание силы, эхом отдававшей от хвоста состава, словно товарняк уходил сразу на две стороны. В той же предприимчивой компании юный Крылов лазал на заброшенную телебашню, именуемую у рифейцев “поганкой”. Городская достопримечательность, никогда не служившая по назначению и добрый десяток лет ветшавшая в слоистом мареве над кубическими кварталами и целлофановой речкой, охранялась милицией, но очень условно. Там, внутри дырявой, как сви-стужка, бетонной трубы, ржавые лестницы крепились неустойчиво, превращаясь местами в скрипучие качели, верхний ветер, с силой врывавшийся в проломы, моментально высушивал пот, создавая у адреналинщика ощущение, будто он всем телом вклеился в клейкую паутину, – но, несмотря на трудности подъема, труба была исписана разными граффити не менее плотно, чем любой пролетарский подъезд. На самом верху, на исхлестанной ветром округлой



площадке, ходившей ходуном на манер воздушного плотика, поначалу было почти невозможно даже в безопасном центре стоять на ногах: хотелось лечь плашмя и не смотреть, как худая решетка ограждения черпает, погружаясь кривыми прутьями, солнечную муть, как бесится на ней привязанная кем-то и истрепанная в нитки розовая тряпка.

Однако подросток Крылов уже сообразил: чтобы сделаться истинным рифейцем, надо рисковать – много и бессмысленно. Стоя на самом краю, чувствуя выше коленей, там, где кончался бортик и начиналась пустота, как бы ходящий по нервным струнам виолончельный смычок, он сумел, в числе немногих, отлить непосредственно в бездну, где продукт его рассыпался, будто бусы с порванной нитки. Когда на башне появились заезжие бейсеры и принялись лихо сигать через борт, трепеща, как зажигалки, удлинявшимися язычками парашютов, подросток Крылов решил, что непременно тоже прыгнет. Не тут-то было.

– Даже не думай, пацан, – сказал ему чужак с глубоко посаженными добрыми глазами, блестящими внутри морщинок и ресничек будто капельки темного масла. – Чтобы прыгнуть бейсом, надо полгода готовиться. Тут все по секундам, понял? Е...нешься на... – тут добрый человек объяснил, что именно произойдет с Крыловым, употребив выражение эксклюзивной многоэтажности и благожелательно глядя на табор адреналинщиков, откуда как раз сносило пустой и пьяный от воздушной пустоты, горевший шестидесятиваттной лампочкой на абсолютном солнце пластиковый баллон.

– Ну и что? Имею право, – не отставал Крылов, у которого живот завязался узлом, а бездна внизу открылась, как люк.

– Видишь мой парашют? – добрый бейсер кивнул через плечо. – Стоит две штуки грина. Если на...нешься, мне его назад не получить.

Этот аргумент Крылова убедил. Цифра в две тысячи баксов производила впечатление. Деятельность Крылова за порогом дома уже отчасти носила товарно-денежный характер. Пацаны, одетые в просторные китайско-адидасовские треники, тырили по мелочи из “своего” супермаркета “Восточный”, не подпуская к территории наглеющих чужих. Они старательно валили возле площади Матросова, бывшей Сенной, где река лежала на песочке, будто женщина на простыне, а под песочком в черном дурнопахнущем иле, некогда счищенном со дна коммунальными службами, попадались разные монеты, вплоть до золотых – размером с советскую копейку, с мелким, будто комарик, двуглавым орлом. Скоро в голове у подростка Крылова образовалось что-то вроде виртуальной бухгалтерии. Парашют – две тысячи баксов. Подержанный писюк – двести пятьдесят. Новый каталог World Coins – пятьдесят четыре. Лампа-шахтерка, чтобы лазать по сводчатым, низким, как тазики, горнозаводским подземельям, – восемьсот рублей. Станковый польский рюкзак – четыреста пятьдесят. Далеко не все желания могли осуществиться.

Прыгать с “поганки” подросток Крылов приспособился во сне. При засыпании “адресом сайта” служил определенный набор ощущений – в частности, образ сносимого баллона, заставлявший жилками почувствовать высоту в четыреста метров, на которой баллон напоминал вышедшего в открытый космос маленького астронавта. Не всегда, но часто Крылову удавалось оказаться там, где все шаталось, зыбилось, посвистывало. Как и наяву, в глубине золотистой бездны плыли, жадно вбираемые кварталами, будто вода кусочками сахара, влажные тени облаков, а жесткая тень “поганки” не впитывалась ничем – так что трудно было поверить в себя как в точку на краю теневой изломанной шляпы, на гребне маленькой коричневой крыши. Во сне Крылов отрывался от бетона, сделав особое усилие напряженной диафрагмой: сразу в ушах и голове становилось как в забитом помехами радиоприемнике, сумасшедший воздух, залезая в рот, трепал изнутри раздутые щеки, будто тряпичные флажки. Потеряв себя как точку на дне похорошевшей, оживившейся бездны, Крылов нестерпимо остро предчувствовал соединение с собой мчавшимся где-то внизу, как бешеный мотоциклист, – а за спиной никак не раскрывался райский двухтысячедолларовый парашют, и следовало как можно скорее и без остатка

раствориться в ветре, к чему Крылов и приступал деловито, окончательно поддаваясь логике сновидения, его вибрирующим, исчезающим словам.

Зарабатывая кое-какие деньги, подросток Крылов ощущал себя взрослей, чем был в действительности. Ему, испытывавшему все тривиальные мучения самолюбивого недоросля подле ничтожного отца (отец к тому времени превратился в холуя-шофера при мордатом боссе и ездил, как мечтал, на “мерседесе”), стало гораздо проще с родителями. Его молчание в ответ на их беспомощные крики выглядело теперь совершенно естественным, и иногда он даже оставлял на кухне в качестве безличной информации свой вполне пристойный по оценкам гимназический дневник. Учился Крылов настолько легко, словно никаких наук не было вообще. Хуже было то, что родители одним своим присутствием не давали Крылову спокойно почитать – подозревая, как видно, что под учебником алгебры он прячет не роман Фредерика Пола, а порнографический журнал.

Вообще отношения родителей с подростком Крыловым состояли из бесконечных подозрений; прикидывая, что им мерещится, когда они вечерами поджидают сына при полоумном свете кухонной лампочки, Крылов признавал, что при всех усилиях ему никогда не сделаться таким плохим, каким его считают эти двое, когда-то сообща его и породившие. Глядя на них, Крылов был готов скорее поверить, что зародился в пробирке. Он был прекрасно осведомлен, как именно получают дети, и пользовался любезностями Ритки и Светки – двух безотказных сестричек-погодков с грубыми мордами и нежными попами, на которых после оставались цветущие, как розы, жаркие пятна. Вообразить же, как мать и отец смастерили Крылова, не представлялось возможным; тем более он не мог понять, зачем им это было нужно.

Впрочем, подросток Крылов признавал за матерью и некоторую крутизну – можно сказать, крутизну навыворот. Другие мамы, получая свидетельства плохого поведения детей, все старались истолковать в оптимистическом смысле. И не потому, что испытывали с сыновьями хоть какую-то солидарность, просто представления о должном были слишком крепко вбиты в их седеющие головы. Это были правила, по которым они не только жили, но и думали, то есть обрабатывали поступающую информацию; соответственно, из неприемлемых фактов у них получались вполне приемлемые картинки – и ничего другого получаться не могло. Что же касается матери подростка Крылова, то она смотрела на жизнь очень широко раскрытыми глазами: сознание ее могло вместить гораздо больше, чем подросток Крылов был способен совершить. В каком-то смысле родители лстили Крылову; что бы ни происходило в ближних окрестностях – поджог ли киоска, стоявшего с тех пор в виде хижины из черной и свежей фанеры, квартирная ли кража у потомственного зубного техника, всю сознательную жизнь хранившего тайну фамильных коллекций, а теперь вынужденного хранить ее же, только как чужую, – они во всем усматривали участие сына, не имевшего алиби. Наваждение было настолько сильно, что отец, считавший себя в чем-то дипломатом, даже пытался обработать зубного техника, ставившего свой подержанный “жигуль” рядом с “мерседесом”, но техник, которому на короткое тело достался вместо человеческого череп слона, вел себя как изнасилованная женщина и ничего не прояснил.

Словом, родители верили, что все криминальное в окрестностях совершает Крылов. Образ, созданный их воображением, совпадал с идеалом Ритки и Светки – общим на двоих, как все их мальчики и дешевые тряпки с золотыми напылениями и липкими картинками. Идеал этот представлял собой крутого пацана, понимающего жизнь как собственный контроль над всем, что движется, дружащего с добрым дяденькой-бандитом, на толстой шее которого красуется мощная, как тракторная гусеница, золотая цепь. Все представители братвы – от бритого смотрящего, виденного Крыловым только со спины, до мелкого Генчика, знаменитого способностью плевать на много метров вареной слюной, – обладали общим качеством: тошнотворной душевностью. Они серьезно обижались, если что-то им казалось неправильным, – и какой-нибудь мутноглазый дурень с головой, устроенной не сложнее, чем коробка передач,

мог почему-то запомнить пацана и гонять, как зайца, превращаясь для жертвы в вездесущего божка родных дворов и гаражей.

Татуированные долго прикапывались, чтобы поставить своего бригадира в команду на “Восточном” – и таки поставили крыловского одноклассника, дважды второгодника Леху Терентьева. Близко посаженные Лехины глаза учились по-бандитски давить на собеседника и упражнялись на пацанах, что вызывало у Крылова приступ злобной энергии и желание сокрушить не только Леху, но и захваченный им магазин. Впрочем, Леха сам, будучи любопытен и неуклюж, повалил стеллаж с хозяйственным товаром; в результате крушения привлечший его неизвестный предмет оказался погребен под разломившимися, как античные колонны, стопами эмалированной посуды и бурчавшими в мягких флаконах моющими средствами. С тех пор бригадир самолично не работал, а только лениво базарил с охраной, пока пацаны, прикрывая друг дружку от телекамер, мели по его распоряжению дорогие компакты и парфюм.

Крылов попытался было бороться за бизнес и на одной лишь ярости отмутил тяжеленного Леху в гимназическом туалете, каким-то образом запихав этот расстегнувшийся куль под раковину, головой под мокрую трубу, – где голова и застряла в неестественной позиции. После голову высвобождали, поливая растительным маслом, и Лехины лапы хватались за строго параллельные ноги спасавшей его математички; когда же он по сантиметру выпростался и сел, совершая странные плавательные движения, Крылову даже сделалось совестно от вида Лехиных слез, размазанных икрой по грязным и замасленным щекам.

Однако Леха недолго ходил неотомщенным, и мало Крылову не показалось: после встречи с неприхотливыми исполнителями, умудрившимися ездить ввосьмером на одних проржавевших “жигулях”, зубы у Крылова долго были шатки и солони, а ребра справа словно находились под током и не давали вздохнуть. Стало совершенно понятно, что связываться с татуированными себе дороже. Братва представляла собой явление природы, генетический феномен, и порою, глядя на самых мелких обитателей двора, колотивших игрушками по скамейке и бегавших на фланелевых калачиках от семенивших за ними бледных матерей, Крылов внешне видел будущего человека – словно с рождения отмеченного какой-то тайной хмуростью, сдавленностью тугого лобика, телесной тяжестью сырого существа.

Из-за Лехи Крылов лишился существенной части дохода – о чем не особенно жалел, потому что романтика супермаркета с его стандартным китайско-турецким ассортиментом к тому времени уже подвыцвела. Зато имелись другие интересные занятия, браткам совершенно недоступные. Братки, чьим главным продуктом был наводимый на граждан физиологический страх, сами ходили налитые этим страхом, будто сосуды, по самые макушки – и потому оказывались неспособны к чистому бессмысленному риску.

А перед Крыловым мир лежал как один большой аттракцион. Для того в отношениях с миром он разработал и соблюдал свои правила равновесия. Если, к примеру, Крылова обманывал, забрав у него по дешевке редкий советский двадцатчик, один коллекционер, то Крылов в свою очередь разводил одного, и только одного – не обязательно того же самого. Тут важно было выдержать безличность; собиратель генеральной коллекции советских монет, весьма похожий на Дуремара и известный всем по кличке Дуремар, мог топтаться тут же, на плешке, но Крылов к нему не подходил, а небрежно демонстрировал потертый довоенный лат надменной старухе с лицом пушистым и напудренным, как бабочка-ночница, явившейся на плешку неизвестно за каким дивидендом, – и, завершив несправедную сделку, чувствовал себя вполне удовлетворенным. Подросток Крылов не хотел держать в себе ничего лишнего – ни обид, ни памяти о многих мелькающих людях, – и был как экологически чистый аппарат, что возвращает внешней среде именно то, что из нее получил. Ему представлялось, что, держа равновесие, он каким-то магическим способом оберегает мир от распада, сохраняет его вещество. У него из сумки утаскивали книгу – он крал одну с лотка или в гимназической библиотеке; ему не возвращали одолженную шахтерку – он уже не покупал другую, а тырил у строителей

метро, пользуясь дырами в штопанных сетчатых воротах, за которыми трещал и бухал пыльный котлован. Для себя Крылов не делал разницы между своими обидчиками и теми, кто потерпел от него самого, – тем более что многие люди оставались ему неизвестны. Соотношение “я и все остальные” было, конечно, неравным – и было бы неравным для кого угодно, а не только для пацана из облезлой хрущобы, имевшего самые слабые социальные шансы, – но никакого неравенства Крылов признавать не желал.

\* \* \*

В поисках приключений на свою непримечательную задницу подросток Крылов постигал характер новой северной родины, суть природного рифейства. Как во всяком городе вавилонского типа, на четыре пятых населенном приезжими, беженцами, освободившимися зэками, выпускниками трех десятков действующих вузов, коренные обитатели в столице Рифейского края были в меньшинстве. Город, принимая людей, заключал в себе по второму экземпляру всех географически близких городков и поселков городского типа – в отдельных случаях больше натуральной величины – плюс обменивался чиновными элитами с недремлющей Москвой, отчего приземистые памятники архитектуры меняли принадлежность и перекрашивались чаще, чем это выдерживал бледный пейзаж.

При таком стихийном росте обитаемой среды было непросто понять, что же является исконной территорией города, выразителем и символом рифейского духа. Тем более что город сам изначально не был склонен к образованию центра. Старые купеческие особняки, изукрашенные большими, как кровати, парадными балконами и толстыми чугунными кружевами, ставились без учета стиля соседей, как если бы никаких соседей не было вообще. Казалось, что дикий золотопромышленник, возведя любимое чудовище, твердо знал, что оно переживет окружающие строения, уже отмененные красотой его хором и оставшиеся в прошлом. Словом, в старой части города не было заложено идеи его одновременного существования. На это администрация, испытывая естественную потребность в оформленном центре, ответила тем, что снесла заросшие кладбищенской травой карьерные особняки и построила новодел, соединивший идею казармы и петровского Монплезира. В качестве символов рифейцам были предложены на выбор: геологический музей под открытым небом, где орошаемые плотиной яшмовые глыбы напоминали куски проложенного кварцевыми жилами каменного мяса; похожий на мясорубку макет изобретенного здесь паровоза; памятник двум основателям города, что стояли в каменном немецком платье, обратив одинаковые полированные лица к черному плотинному туннелю с водопадом – над которым кто-то рискованный из любителей поболтать ногами над бездной вывел ярко-белой водостойкой краской: “БОГА НЕТ”.

В действительности истинным символом и выразителем рифейского духа была лиловевшая над городом “поганка” – самый крупный из тех иррациональных феноменов, что возникали, казалось, только для того, чтобы возбудить в рифейцах их главный инстинкт. Его можно было бы обозначить как инстинкт бесцельного освоения объектов, к освоению не предназначенных, а лучше запрещенных. Тут возникал особого рода контакт: объект представлял собой материализованный пароль, на который в душе у рифейца имелся готовый радостный отзыв. Видимо, мир рифейца был принципиально негоризонтален и в этом смысле походил на мир насекомого. Культовая “поганка” была для городских подростков муравьиной тропой в небеса. Взрослые же дядьки ходили, благословясь, на гималайские восьмитысячники, устраивали международные (с участием меланхоличных финнов) соревнования по скоростному лазанию на красные, как палки копченой колбасы, рифейские сосны, организовывали сумасшедшие ралли по лесным дорогам, представлявшим собой сырую крутизну с кадыками валунов, а также зимние гонки на мотоциклах по замерзшей реке с лихими проскоками под заледенелыми сводами Царского моста. Занимаясь такими делами, достойными разве пацанов, взрослые рифейцы

придавали им, однако, непререкаемую серьезность – может быть, благодаря тому, что постоянно держали в себе как бы нечто твердое, какой-то кристаллический холодный наполнитель. Подросток Крылов рано сообразил, что душа исконного рифейца обладает свойством прозрачности: все в ней как будто видно насквозь, а внутрь проникнуть нельзя.

Скоро и у него возникло в груди подобное образование, заключавшее в себе в виде мелких пятен и трещин обиды самого раннего детства, возратить которые во внешнюю среду было уже невозможно. Крылов узнал, что когда случается что-нибудь непоправимое, то сперва становится интересно, будто попадаешь в кино. Так было, когда отец, отхлебнув хозяйского виски, засадил “мерседес” в бредовое, но крепкое рекламное сооружение – при этом сам, затесненный надувными подушками, отделался буквально царапиной, тогда как боссу въехавшим штырем снесло полчерепа, и безволосый скальп его валялся на заднем сиденье, похожий на лоскут от рваного мяча. Несмотря на то что причиной аварии послужил вилявший и подрезавший всех подряд впоследствии не найденный “москвич” (в рифейской столице на дорогах нагнали не только крутые, но и обыкновенные инженеры, имевшие хоть какие-нибудь ржавые колеса), – отца вследствие значимости погибшего и выпитого спиртного отправили на зону общего режима. Крылов увидел его напоследок в зале суда, запомнил маленькие сосредоточенные бровки, терпеливую позу подледного рыболова, – после чего отец уехал под конвоем и никогда не вернулся, честно отмотав четыре года приговора, но совершив, как многие в его положении, побег из действительности.

Гораздо большее впечатление произвела на Крылова драматическая кончина прекрасной “поганки”. Несмотря на специальные качества пошедшего на нее железобетона, четырехсотметровая башня обветшала настолько, что сделалась опасна. Между тем ронять ее было совершенно некуда: за годы, пока “поганка” украшала собой низковатые рифейские небеса, вокруг нее понастроили сперва стандартные девятиэтажки, потом престижные жилые комплексы из кремлевского цвета кирпичей, а с самой рискованной, почти всегда подветренной стороны располагался похожий на гигантскую теплицу торговый комплекс. Промедление, однако же, грозило бедой, какой не видывало еще российское МЧС. В одно прекрасное лето, примечательное мощными, гремевшими в водосточных трубах, как якорные цепи, белыми дождями, городская администрация, собравшись с духом и средствами, дала приказ начинать. Разумеется, “поганка” простояла над городом всю следующую зиму, сахарно сияя и вводя в искушение рифейцев, лазавших на нее с любительскими радиостанциями и подтянувших наверх для нужд своего вещания танковый аккумулятор; цены на окрестную недвижимость ходили ходунгом, на чем наживались приближенные к мэрии тихие риелторы.

На следующее лето, выдавшееся не в пример прошлогоднему настолько сухим, что городская речка превратилась в кофейную гущу, к “поганке” подступили военные специалисты. Два месяца у них ушло на то, чтобы эвакуировать близлежащие кварталы, ставшие похожими на марсианский город, по которому цугом бегали пыльные собаки; тем временем взрывники шпурили бетон, пробрасывали кабели, закладывали взрывчатку взамен разворванной в прошлом году. В день решающего события стало понятно, что работали мастера: воздух в городе вздрогнул, и “поганка” аккуратно оплыла, словно очень быстро сгоревшая свечка, погружившись на полпути к земле в растущие снизу клубы плотного праха. Там, где она только что была, на тонкой облачной амальгаме образовалось слепящее пятно. Даже когда кучевая пыль, редая и просвечивая, поднялась почти на полный рост обрушенной башни, сверкание не исчезло; пыльный призрак как бы растолстевшей “поганки” держался в воздухе несколько дней, оседая на вялую листву и на битые стекла, что скрежетали под ногами вернувшихся жителей и всхлипывали под дворническими метлами, образуя слоистые и хрупкие мусорные кучи. И после, стоило подняться пыли, словно присыпавшей в воздухе какой-то тонкий отпечаток, или солнцу выйти из облака под необычным углом, как башня делалась видна; видели ее и в густой снегопад, словно мывший с мылом фиолетовую тень. Многим рифейцам не верилось, что они физически

побывали там, где теперь свободно разгуливал ветер; засыпая с этой мыслью, пацаны и даже студенты, брившие мягкие бородки, летали во сне.

\* \* \*

Рифейские горы, выветренные и подернутые дымкой, выявляющей в пространстве сотни градаций серого цвета, напоминают декоративные парковые руины. Живописцу нечего делать среди этой готовой каменной красоты: каждый пейзаж, откуда ни взгляни, уже содержит композицию и основные краски – характерное соотношение частей, вместе составляющих простой и узнаваемый рифейский логотип. Картинность Рифейских гор кажется умышленной. Горизонталь серых, с лишайниковой позеленью валунов, умягченных скользкими подушками рыжей хвои, перебиваются вертикалями сосен, соединенных в тесные группы и, как все в пейзаже, избегающих простоватой четности; вместе это словно бы построено по законам классической оперной сцены с ее громоздкими декорациями и лицом к партеру расставленными хористами. Воды в Рифейских горах также распределены с учетом картинных эффектов. Иные речки, отравленные промышленностью, имеют вид бытовой и выглядят как аварии водопровода – но есть и другие, сохранившие замысел архитектора. Их берега, как правило, скалисты; трещиноватые и смуглые сланцевые кладки выглядят как завалы каменной макулатуры, где темные слои, несомненно, содержат иллюстрации; местами розоватые скалы словно обклеены кусками целлофана, их камешки, все как один содержащие идею кубика, обильно высыпаются из трещин. Каждый речной поворот открывает новые подобию виденного прежде, отчего берега кажутся движущимися скорее, чем сама вода, словно бы натянутая в усилии сохранить отражение неба и посеребренных облаков.

Небо в рифейских водах видится намного синее, чем оно есть в действительности; причиной тому – летний северный холод, даже и в жаркие дни дающий себя почувствовать в порыве ветра, в соседстве коренного, глубоко замороженного камня. Нежные ящерки греются на тепломых выходах скального кварца, содержащих золото; это друзья рифейского человека, живые указатели подземных богатств. То же самое уж и мелкие темные гадюки, отдыхающие в скалах маслянистыми колечками; при малейшей тревоге они напрягаются, делаясь похожими на стрелу, приложенную к тетиве, но обыкновенно утекают с миром в каменную щель, оставляя по себе легкое шевеление горько-зеленой травы.

Озера в Рифейских горах многочисленны и огромны. Их большая, удивительно пустая гладь служит зеркалом не столько материальных предметов, сколько погоды; малейшие изменения в атмосфере отражаются там в виде бесплотных образов, не имеющих ничего аналогичного по берегам, расплавленным в темное масло и непонятно где твердеющим: граница воды и суши часто не видна. Зато атмосферные призраки, порой не просто отражаемые, но близко глядящиеся в озеро, бывают отчетливы. Это марсианское телевидение лучше наблюдать с высоты, откуда лодки у дачного берега выглядят семенной шелухой. Иные озера бывают поразительно прозрачны; солнечная сетка на пологом дне в недвижный полдень достигает совершенства позолоты на фарфоре; рыбак на пахнувшей ухой горячей плоскодонке видит сквозь собственную тень далекий комочек приманки и темные спины желающих с нею ознакомиться крупных окуней.

На благодатном юге Рифейского хребта, там, где растет неказистая, с ягодами в виде узелков, но удивительно ароматная лесная клубника, а садовая клубника достигает иногда размеров моркови, озера занимают еще больше прекрасного пространства. При взгляде сверху не всегда понятно, чего перед тобою больше – воды или тверди: они окружены друг другом, друг другом поглощены. Кругом острова, острова; иной, подобно чаше, содержит еще один неправильный овал сияющей воды – однако это не часть материнского водного мира, а собственное внутреннее озеро, питаемое собственными ключами; на нем же – еще один островок:

декоративная скала с россыпью гальки, похожая на разбитую копилку. От скалы, дойдя до предела сужения, словно бы вновь расходятся во всю пространственную ширь водные, земляные, каменные круги; местность стирает границу и разницу между поименованным географическим объектом и безымянным конкретным предметом – каковым является на самом малом островке дородная береза, сверкающая на ветру мелкими жесткими листьями и словно бы украшенная в дополнение к своей плакучей гриве новогодним елочным дождем.

Рифейская гряда, несомненно, располагается в одном из тех загадочных регионов, где пейзаж непосредственно влияет на умы. Для истинного рифейца земля – не почва, но камень. Здесь он – обладатель глубинной в прямом и переносном смысле слова, геологически обоснованной истины. При этом его земля так же плодоносит. Как житель российской средней полосы отправляется “на природу” за ягодами и грибами, так рифеец выезжает на мятой “копейке” за самоцветами; местность, лишенная россыпей и жил, для него бессмысленна. Далеко не все, выросшие на Рифейском хребте, пополняют впоследствии сообщество хитников – не имеющих лицензий добытчиков ценного камня, которые, обладая городскими, часто интеллектуальными профессиями, строят свой бюджет на незаконном промысле, перерастающем в страсть. Но практически каждый рифейский школьник проходит через “коллекционку”: в редкой семье не валяются на антресолях как бы заплесневелые булыжники с малахитовыми корками, покрытые черными окислами, похожие на городской весенний лед кварцевые друзы, зашлифованные куски всех распространенных поделочных пород.

Между тем подземные рифейские богатства уже не те, что были прежде. Всюду на территориях известных месторождений профессиональный хитник или просто турист натывается на старые горные выработки. Это могут быть плавные ямы, давно заросшие мокрым папоротником и непролазной, с шерстяными листьями лесной малиной: только опытный глаз распознает в них прадедовские шурфы. Бывает, что дырка в земле, похожая на беззубый и запавший старческий рот, ведет исследователя в шахту позапрошлого века, что напоминает похороненную, полураздавленную камнем низкую избу. Холодные лиственничные крепи, шелушащиеся мертвой, словно вываренной временем щепой, поверху отлакированы копотью лучин, забиравших у горщиков сладковатый подземный кислород, и звуки из темноты раздаются такие, точно кто вытирает ноги о сырую каменную крошку. Бывает, что шахта эта расположена не в горной глухомани, а где-нибудь на краю картофельного поля, по которому, подпрыгивая, едет маленький трактор. Дело обычное: от грунтовки, ведущей к прозаическим коллективным садам, отделяется другая, побледней, и лезет на крутизну; с крутизны открывается вид на старый карьер, заключающий, будто оправа, странно гармоничный воздушный объем, как бы слезу пустоты. Не сразу заметно, что карьер до какого-то уровня заполнен водой. Вода не видна; отражение кварцевых стен, из которых в жаркий полдень одна горячая, а другая ледяная, столь подробно и совершенно, что глаз не улавливает, где заканчивается настоящий обрыв и начинается мнимый; дивная эта симметрия завершается зеркальцем отраженного неба с пятнышками опрокинутых в него берез. Спускаться в карьер надо по натертой шуршащей тропе, держась за стену, растущую у виска; иногда из нее, будто книга с полки, вынимается в руку плоский розовый камень, который, будучи брошен вниз, издает сырой и зычный звук, подпрыгивающий вверх. Только по толстым водным кругам обнаруживаешь место, куда уже не следует ступать; вода, как глина на гончарном круге, словно пытается превратиться в сосуд. Этого не происходит; медленно, почти бесконечно долго восстанавливается смущенное совершенство – но вдруг наступает миг, когда вода исчезает опять буквально из-под ног. Снова зритель остается наедине с поразительной пустотой, образовавшейся на месте вынутой горы, – и солнечная стена, удивительно яркая, мелко-подробная, кажется подсвеченной снизу сильным электричеством, сахарная жила на ней искрится.

Все, что могло быть взято сверху, уже практически взято; поверхность Рифейского хребта истощена. То же можно сказать о поверхности рифейской красоты. Природные лого-

типы, с помощью которых так легко komponуется на холстике узнаваемый пейзаж, всегда поощряли не профессиональных, но самодеятельных живописцев. Реализм, будь он метод искусства или – шире – способ мышления, был здесь свойством людей принципиально поверхностных: благонамеренных дилетантов, понимающих использование готовых форм как род патриотизма. В этом смысле Рифейский хребет оказался коварен: здесь готового с самого начала было сколько угодно. В результате образовался специфический слой художников, поэтов-песенников, коллекционеров, краеведов, обуреваемых прекрасными порывами души. Эти серьезные дядьки, пожилые лет с тридцати, в селедочного цвета пиджаках, хранящие во внутренних карманах разнообразные членские билеты, смутно чувствовали, что чего-то хочет от них вся эта каменная и индустриальная мощь, загруженное небо над ней, без конца транспортирующее тонны облаков, – но не могли преодолеть поверхность, как будто удовлетворяющую требованиям художественности и рифейской самобытности.

Когда же наступил экологический кризис реальности первого порядка, сделалось ясно, что мышление истинного рифейца есть мышление фантастическое. Чем дальше от почвы, тем лучше! Оказалось, что анахорет, в какой-нибудь Нижней Талде изучающий санскрит, вернее выражает собой сущность малой родины, чем румяный, как пион, сочинитель песен для народного хора. На выставках новых художников, ушедших в астралы модернизма, впервые исчезла из живописи всегдашняя рифейская притемненность и сытная тяжесть мазка. Живопись очистилась; вследствие этого новые богачи, мало понимавшие в предмете, но детски склонные к ясным цветам, охотно покупали композиции, похожие на настольные игры, рисованные загадки и наборы юного техника. Всплеск непатриотичного, демонстративно неместного искусства выражал на самом деле то сугубо местное свойство ума, при котором рифеец, будучи бытовым человеком, одновременно полагал себя и кем-то другим – удаленным, может, даже и иноплеменным; склонность к риску и желание наиболее интересным образом свернуть себе шею объяснялись отчасти тем, что эта удаленная личность была защищена ментальным расстоянием и, по всей вероятности, бессмертна.

Тем временем власти, мало что понявшие, продолжали государственно поощрять краеведов и народные коллективы. Прогресс они увидели в том, чтобы воссоединить сценического мужика-хориста с подобающим ему условным православием. Боевитый тенор в шелковой косоворотке и правда был недостоверен – слишком походил на комсомольца; перенос сакральных смыслов с фабрики на храм правильное обустроил его нарядный, весь в георгинах и рябинах, искусственный мир. Также и эстрадные господа офицеры с гитарами почувствовали себя лучше и даже шагнули в жизнь: группами по десять-двенадцать человек они маршировали по рыжей брусчатке бурно торгующего городского центра. Всюду наблюдалось возвращение к истокам. Молодые батюшки с мягкими бородами, чинно разложенными на грудях, ездили по городу в тяжелых черных “Волгах” обкомовского вида – сильно, правда, потрепанных; храмы, переданные по принадлежности (имущество выселенных музеев сырело и пухло в случайных подвалах), напоминали витыми куполами парад монгольфьеров, правда без рекламы; в положенное время над городом гудели, растекаясь в воздухе тончайшей пленкой нефтяного звука, их колокола, что играло в шумовом пейзаже ту же роль и вырабатывало образ того же поэтического качества, что и воспетый селедочными пиджаками фабричный гудок.

Любимой идеей властей стало восстановление монастыря, где сорок лет жила колония для малолетних преступников. Монастырь издали напоминал огромный, осевший и грязный сугроб; вблизи становилась заметна свисавшая со стен изодранная колючка и тюремные лампы в помятых рефлекторах, похожие на ее железные плоды. Благословясь, приступили к строительству; для начала разобрали на монастырской территории длинные бараки и выволокли, чтобы после отвезти на свалку, землистые доски с выпадающими ржавыми гвоздями, похожие на останки откопанных гробов, какие-то лоскутья крашеной жести, куски кирпичей. Немедленно в деревянном городишке, примыкавшем к монастырю, разразился небывалый пожар. В



ту роковую ночь огонь летал, раздуваемый ветром, а вода, кидаемая в него с разбегу из ведер и корыт, возвращалась жарким выдохом, как из пьяной пасти; с писком занимались облитые из малосильных шлангов черные избушки, обрушивались с жарким шелестом розовые остовы. Наутро уцелевшие деревья стали как банные веники, на пепелищах среди разлагавшейся, еще алевшей под папиросным пеплом деревянной плоти бродили погорельцы, палками откапывая из угольев свое пропеченное имущество.

Теперь к одной заботе у властей прибавилась другая. Не надеясь, однако, на бесплатные отели, местные жители растащили остатки бараков и в ударные сроки сбили лачуги. С тех пор, сколько бы ни спускалось сверху льготных субсидий, население категорически их пропивало, продолжая жить во всем тюремном; даже колючка употребилась в дело – ею обматывали для прочности особо шаткие конструкции, отчего иные хибары с косыми крошечными окошками напоминали ульи, вокруг которых клубились железные пчелы. Городишко и монастырь в финансовом смысле превратились в сообщающиеся сосуды. Было не совсем удобно отстраивать храм, пока за стенами все лежало в разорении и пепле; там согбенные бабки варили еду в посипывающих, дымящихся щелями останках печей, неподалеку в бумажном тенечке подсохших берез валялись на голых панцирных койках кормилицы семейств, сами похожие на узлы какого-то спасенного и бесполезного добра, – и все это безобразие снимали оппозиционные журналисты. По мере сил снижая общий уровень в сообщающихся сосудах, погорельцы убежденно воровали все, что только ни положишь на землю: мешки с цементом, краску, рукавицы. Неустойчивое равновесие, поддерживаемое двумя сравнительно одинаковыми ручейками финансовых вливаний, в любой момент грозило обернуться катастрофой. С благословения рифейского владыки было предпринято массовое крещение погорельцев. На монастырской неухоженной лужайке, усыпанной большими, как пивные пробки, головками облетевших одуванчиков, собрались едва ли не все обитатели лачуг; алюминиевые тазы с водой, поставленные в ряд, золотились будто луковая шелуха, по горелым бородам крещаемых стекали яркие капли, старухи осеняли себя мелко и трудолюбиво, будто накладывали штопку, – но разрешению смутительной ситуации таинство не помогло.

\* \* \*

Все это мало имело отношения к духовному быту рифейца – ставившего, впрочем, свечки перед популярными иконами и охотно купавшегося на водосвятие в крещенской лунной проруби, чей матерый лед хватал его крепким клеем за мокрые пятки. Как бы далеко от местности и быта ни простирались интеллектуальные интересы рифейца (многие хитники в легальной части своих биографий работали на космос и оборону) – он знал всегда, что рудные и самоцветные жилы есть каменные корни его сознания. Мир горных духов, где всегда пребывал и пребывает рифеец, есть мир языческий. Он включает, в частности, неопознанные летающие объекты от трех до пятнадцати метров в диаметре, чьи передвижения по воздуху напоминают рывки катушек, с которых сматывают нитки, – а также шелковисто-зеленых получеловечков, принимаемых посторонними за инопланетян. На самом деле это местные ребята: разумные рептилии, охраняющие самоцветные линзы. Изредка старателям удастся увидеть Великого Полоза. Этот подземный змей с головой огромного старика может явить человеку картину, подобную хрестоматийной сцене из «Руслана и Людмилы», – только голова у Полоза лысая, с темными шлифованными пятнами, губы, тоже крапчатые, весьма мясисты, перебитый нос размером и формой напоминает сапог. Великий Полоз ходит под землей, как под водой. Тело его, протягиваясь кольцами перед оторопевшим старателем, выглядит как сгружаемый с самосвала поток грохочущего гравия; поднимается пыль, шевелятся побелевшие кусты, земля местами проседает, образуя морщинистую траншею, – вот по ней и следует искать рассыпное и жильное золото, по-царски возмещающее старателю испорченные брюки.

Бывает, что горный дух по внешности мало отличим от человека. Каменная Девка, она же Хозяйка горы, вовсе не похожа на красивую артистку в синих накладных ресницах и в зеленом кокошнике, что представляет Хозяйку в утренних спектаклях драмтеатра. Каменная Девка может явиться хитнику в виде самом обыкновенном: показаться, например, немолодой интеллигентной дачницей, испачканной ягодами и раздавленными комарами, с ведром огурцов; или буфетчицей на маленькой станции с накрахмаленной башней обесцвеченных волос и тоскующими глазами в припухлых мешочках; или девчонкой лет пятнадцати, у которой в горловину свободной майки залетает ветерок, когда она, пригнувшись, жмет на педали бряцающего велосипеда. Каменная Девка вовсе не старается держаться поближе к лесной и горной глухомани, она не зверек. Она совершенно свободно появляется и в городе с четырьмя миллионами жителей, стоящем и не чующем под собой ни могучих, как подземные капустные поля, наростов малахита, ни толстого золота в рубчатом кварце.

В тесных круговоротах городского населения Каменную Девку различает только тот, к кому она пришла. Вдруг при виде женщины, ничем особо не приметной, душа у хитника странно намагничивается; вдруг незнакомые черты и жесты складываются в родной и желанный облик, и безбожнику кажется, будто только что буквально на его глазах из обычного материала, какого много намешано в толпе, Бог сотворил для него, единственного, дивное существо, будто ему наглядно явлено доказательство сотворенности человека с помощью божественного фокуса. И не может уже обалделый бородач не устремиться к незнакомке, исполненной для него невыразимого обаяния, служащей доказательством его единственности среди прочих людей, которую все остальное вокруг готово опровергнуть.

Неправда, будто Хозяйке горы нужно от человека камнерезное мастерство. В действительности ей, как всякой женщине, нужна любовь – но только настоящая, того особого и подлинного состава, формула которого еще никем не получена. Всякое чувство бывает с тенями; иногда оно само представляется тенью. Из-за отсутствия единиц измерения и достоверных экспертиз избранник Каменной Девки ощущает себя предоставленным самому себе в гораздо большей степени, чем это случалось с ним когда-либо прежде. Сомнения накладывают на лицо избранника поперечные морщины: линии жизни, которые обычный человек видит на своей ладони и в каком-то смысле держит в руке, проступают у него на лбу. Испытуемый то верит, то не верит в истинность собственного чувства; зыбкой ночью, когда неподвижное тело подруги вдруг тяжелеет во сне и продавливая свою половину кровати, будто поваленная статуя, мужчине приходит мысль, что легче вспороть себе живот, нежели вскрыть для проверки собственную душу – по крайней мере, первое физически возможно. Самоубийства от счастливой любви, от вполне разделенного чувства – не такая уж редкость в рифейской столице. Если покопаться в милицейских сводках, можно обнаружить немало загадочных случаев суицида, когда покойников находили с блаженной улыбкой на окаменелых устах – то есть рот буквально превращался в минерал, в небольшой и твердый каменный цветок, и лежал нетленным украшением на осевшем лице. Где-нибудь поблизости на видном месте белел аккуратный, параллельный линиям мебели и комнаты сопроводительный документ покойного – предсмертная записка, обращенная к женщине и содержавшая по большей части плохие стихи.

Та, к кому адресовался самоубийца, исчезала абсолютно, будто проваливалась сквозь землю. Приметы ее, сообщенные родными и соседями покойного, оказывались столь противоречивы, что было даже удивительно, как искажала подозреваемую сильная оптика их коллективной – теперь еще возросшей – неприязни. Впоследствии на могиле самоубийцы на памятном камне люди видели во всякий теплый день хорошенькую ящерку, на первый взгляд совсем обыкновенную – и лишь специалист, окажись он здесь, сообразил бы, что существо не относится ни к одному известному виду, и воскликнул бы “Не может быть!” при виде папоротникового узора на ее спине и крошечных ручек, словно одетых в черные перчатки. Многим, впрочем, мерещилось, что на плоской ее головке поблескивает корона размером не более золотого

зуба; при всякой попытке словить диковину ящерка сперва замирала, словно перенимая насто-роженность наплывающей вкрадчивой ладони, но вдруг выписывала стремительный зигзаг и пропадала неизвестно где, иногда оставляя преследователю остренький, с голым хрящиком хвост.

Бывало и так, что рифеец после встречи с Каменной Девкой оставался в живых. Такой не лазил больше за пределы города, завязывал с самоцветным промыслом и, по слухам, не видел себя в зеркалах, отчего утрачивал связь с самим собой и беспокойно ощупывал собственное лицо, сильно нажимая на твердое и захватывая мягкое в толстые складки. Стоило кому-то обратиться к нему, как несчастный тут же отвлекался, проверяя свое наличие и наличие на себе подобающей одежды: пауза, сопровождаемая ревизией пуговиц и поклоном собственным штанам, была коротка, но настолько неприятна собеседнику, что у бывшего хитника, честно обещавшего себе вести отныне только нормальную и легальную жизнь, карьера не задавалась вообще. В отдельных же случаях любовник Каменной Девки исчезал куда-то вместе со своей подругой, не взяв ничего из вещей, выложив деньги – бывало, что и перехваченные резинкой толстые доллары, – ровно на то заметное место, где лежало бы, покончи он с собой, последнее письмо; опытные менты, изучившие почерк подобных исчезновений, называли эту зону почтовым квадратом.

Иногда, если родственники бывали особенно настойчивы и не верили в бесповоротность события, ментам удавалось проследить начальный отрезок путешествия. Некоторое время в милиции отрабатывалась версия, будто типовой беглец находится под действием наркотика. Согласно показаниям свидетелей, он и его приятельница держались так, будто совершенно не знали города и каждую минуту боялись потерять друг друга; все это напоминало пляску двух бабочек в воздухе, которых слепо сносит по странной кривой, – и вдруг наступал момент, когда тот или другой нащупывал в пространстве нужную дыру. Приятели беглеца, не знавшие об его исчезновении, бывало, встречали его на своих незаконных геологоразведочных работах: он появлялся из красноватой темноты, какая бывает под веками и в лесу вокруг горящего костра, садился к общей еде, пил из железной кружки крепкий, как гудок тепловоза в голове, рифейский самогон. Свою веселость и отсутствие сна на похудевшем, сильно сточенном лице он объяснял необычайным фартом; этим же артельщики объясняли себе его поспешный уход в одиночку – туда, где никто не сидел и куда сносило от костра засоренный хлопьями въедливый дым. Артельщики, укладываясь в палатках, завидовали товарищу; потом, узнав о том, что с ним произошло, молча поднимали брови и шевелили бородами. Кто знает, счастье или несчастье случилось с человеком за горизонтом общей и обыкновенной жизни, за пределом судьбы?

\* \* \*

Молодой Крылов в положенную пору, как и всякий рифейский человек, побегал по горам. Он узнал, каково ходить под рюкзаком, что тяжелеет с каждым километром и все больше пахнет брезентом и потом, точно тащишь на спине еще одно собственное тело; узнал, каково с помощью прадедовых клиньев и кувалды бить шурфы, а потом шинковать на солнышке холодные глыбы, высекая резкие звезды каменной крошки.

Узнал молодой Крылов и небольшую удачу: дома у него образовался стандартный набор завернутых в газеты образцов, кое-что удавалось продавать. Была одна хорошая ходка на старые отвалы изумрудного рудника, купленные целиком какой-то российско-японской фирмой и лениво охраняемые толстыми качками в напоминающем паззлы декоративном камуфляже. Пока спортсмены, желая оттянуться на пикнике, разводили изрядный костер, пышным дымом уходивший в небеса, хитники спокойно просачивались внутрь. Лазать по голым искусственным склонам, лишь кое-где подернутым сеткой бурьяна, следовало все-таки осторожно: человек просматривался безо всякого бинокля. Кучи угловатого камня, десятилетиями поставленные

на тормоза, туго скрежетали под ногой, но всякий шаткий кусок мог оказаться педалью, спускающей осыпь. Тем не менее дело стоило риска: плохо разобранный порода содержала не только трещиноватые бериллы, назначенные русско-японцами для технических нужд, но и кристаллы вполне ювелирного качества. Крылову посчастливилось раскопать целых восемь вмурованных в породу шестигранных бутылочек, в чьей перебеленной зелени он с волнением разглядел живые зоны прозрачности; впечатление было настолько сильным, что, даже убегая от рейнджеров по гулкому сосняку, гудевшему от воплей и выстрелов, как потревоженный палкой железный забор, Крылов продолжал ощущать благоговение перед просветленным веществом. Денег от продажи добычи хватило, чтобы оплатить первый год учебы в университете и купить для матери, страдавшей белыми тяжелыми отеками, путевку в санаторий. Все-таки Крылова не оставляло чувство, будто он расстался со своей находкой неприлично поспешно, будто чего-то недоразглядел или недоделал; ощущение было правильным и впоследствии полностью подтвердилось.

Понадобилось не очень много времени, чтобы до Крылова дошло: фарт его довольно слабый, ниже среднего, и промысел хоть и не отторгает его окончательно, но никогда не будет кормить. Не то чтобы горные духи совсем не общались с Крыловым: ему, как и многим, приходилось видеть слабые феномены в кострах, когда огонь, раскрошив, как вафли, пышущие хрупкие уголья, вдруг словно привставал на цыпочки и принимался танцевать, превращая лица артельщиков в дрожащее кино. Потом в поседевшем костровище обнаруживались характерные “синяки”: плотные пятна темно-лилового цвета, по которым знающие люди отыскивали в радиусе двух десятков метров золотой песок. Наблюдал Крылов однажды и летающую тарелку – в сущности, не такую уж редкость: эллипсоидная штука буквально проскакала по ночному небу, затянута тонкой рябью мыльных облаков, как скачет плоская галька по поверхности воды, а потом завалилась за высоковольтную вышку, утонувшую в ее свечении, будто ложка в сметане. Но даже независимо от поведения духов Крылов ощущал себя в компании хитников своим человеком.

Он по-мальчишески – хотя был уже студентом и носил колючие усы – привязался к этим незлым, но жестким сталкерам, сохранявшим в своем коллективном подсознательном представление, что самоцвет дается только человеку, имеющему совесть. Скрытные, легкие на подъем, выделяющиеся в повседневности только особым, с копотью, цветом загара да белизной челюстей на месте сбритого летнего волоса, что придавало мордам нечто человекообразно-обезьянье, хитники умудрялись существовать независимо от властей и братков. Власти, занятые большими числами, кое-как терпели мелкое зло и даже позволяли скромной коммерческой структуре устраивать в окраинном ДК ежемесячные ярмарки минералов – чьи истинные обороты могли бы сильно удивить налоговые службы. В свою очередь братки все-таки чуяли, что где-то в лесу лежат зарытые реальные деньги. Это, конечно, напрягало братков, с боями поделивших территории до последнего ларька и вдруг обнаруживших вокруг себя раздражительно недоступную терра инкогнита. Но даже они осознавали – одинаковыми головами, тугими и крепкими, будто боксерские перчатки, – что, сколько бы они ни десантировались на природу, пугавшую их своей холодной одинаковостью на все четыре стороны, самоцвета им не добыть. Несколько попыток поставить бизнес под контроль закончились крахом: хитники не вписывались ни в одну из понятных браткам вымогательских систем, а самого рьяного любителя покрывавать, свирепого бригадира по кличке Колесо, однажды обнаружили под приметной сосной, похожей на вешалку с мокрыми ушанками, у самого съезда с Северного тракта – без всяких признаков насилия, но при этом и без признаков жизни, с маленьким сердцем под неповрежденными ребрами, которое при вскрытии оказалось буквально разорванным пополам вроде абрикоса. Виновных, разумеется, так и не нашли.

Крылов тянулся к хитникам, понимая, что свободное пространство между жерновами, молотившими электротат в бесконечную текучую муку, приходится отстаивать не только экономии-

ческой конспирацией, но и длительным духовным усилием: постоянным закачиванием энергии во внутреннее общее пространство, персональными взносами в корпоративный моральный капитал. Присоединяясь к сталкерам, Крылов впервые в жизни чувствовал, что приходит на что-то готовое – туда, где поначалу можно просто быть, не беря на себя ответственности за внешние границы этого мужского строгого мирка. В то же время Крылов наблюдал между хитниками существенные различия. Кто-то ради единой находки перерабатывал полную меру камня и грунта и вечером видел под веками бесконечные взмахи лопаты, спускающей веером темные комья; другой же мог пройти по каторжному рву, оставленному первым, и, просто пнув оцарапанный булыжник, подающий ему таинственные знаки, обнаружить в нем кристалл отличной чистоты.

Такая разница не была случайной; среди хитников существовали избранные – не способные, однако, кардинально обогатиться. Вероятно, они общались с миром по тому же принципу равновесия, что открылся Крылову в подростковом возрасте: их никто не обидел настолько, чтобы они могли получить компенсацию и сменить тяжелый промысел на более красивый образ жизни. С некоторыми Крылова познакомили. Тут был старый Серега Гаганов, авантюрист и скаут-мастер, суровый воспитатель половозрелых троечников с заскоками, что набивались в Серегины летние лагеря и западали на его сегментированную мускулатуру, из-за которой длиннорукий Серега напоминал большое насекомое вроде богомола. Тут был приятель Гаганова Владимир Меньшиков – не только удачливый хитник, но и автор десятка разнообразных книжек, от истории кладов до приключенческих романов. Татарин Фарид Хабибуллин, едва ли не единственный из “стариков” профессиональный горный инженер, выглядел наиболее оппозиционно: в городе всегда носил морщинистую черную косуху и похожие на крабовые клешни ковбойские сапоги, длинные волосы, пробитые свинцовой сединой, собирал в непрочесанный хвост. Тайной Хабибуллина была доброта. В высшей степени наделенный талантом удачного пинка по булыжнику, он, бывало, быстрым скопом желтого глаза показывал молодому, куда ему следует ткнуться, а сам отходил с равнодушием, выписывая кривыми ногами замысловатые фигуры, точно ехал по каменной осыпи на невидимом велосипеде. В молодости прошедший выучку в каких-то очень специальных войсках, Хабибуллин был среди резкой хиты едва ли не единственным, решительно не способным ударить человека по лицу. В противоположность татарину счастливчик и красавчик Рома Гусев, тяжеловатый, крупно слеппенный мужчина с могучими рыжими кудрями, плотностью напоминающими губку, дрался едва ли не каждую неделю. Будучи абсолютно трезвым, вообще не жалуя бутылку, Рома, припозднившийся на службе, мог пойти дворами и нарваться на группу запойных пугал, контролирующих драный кустарник. Буквально через полчаса участники конфликта лезли, напоминая мордами палитры живописцев, в прибывший по сигналу местных жителей милицейский коробок, и Рома – что загадочно, не менее пьяный, чем прочая компания, – отправлялся туда же, ворча и облизывая сбитые кулачищи на манер большого рыжего кота.

Были, кроме поименованных, и другие – основные, уважаемые, встречаемые хитниками с принятым здесь свободным запанибратством, а все-таки и с оттенком нежного почтения. Крылов, конечно, понимал, что никогда не станет таким, как эти люди, что место его в хите – пожизненно третьестепенное. В то же время что-то подсказывало Крылову: он на самом деле попал туда, куда надо, он очень важен для сообщества, просто не знает пока, в чем эта важность состоит.

\* \* \*

Загадка разрешилась, когда в жизни Крылова обозначился и занял место профессор Анфилогов. Крылов поступил на исторический факультет в память о том краеведческом музее, что сгнил в распаренных подвалах городской администрации, и кости мамонта снова рас-

пались, точно и не было никакого восстановления на металлическом каркасе в купольной зале; теперь костяные крашенные бревна, пребывавшие в новой неизвестности, имели гораздо меньше отношения к мертвому великану, чем когда они лежали, замкнутые, в плотном и тусклом доисторическом песке. На этом примере Крылов увидел, что произошла необратимая порча истории; он догадывался, что такое происходит довольно часто. Крылов имел уже опыт разысканий в жировых отложениях засалившейся речки, которую горожане, бросавшие туда предметы, воспринимали, несмотря на малость и узость обленившейся Леты, как область небытия. В мыслях он видел себя новым Индианой Джонсом, проникающим в аппендиксы пространства и времени, какими представлялись ему, к примеру, горнозаводские подземелья или пыльные и чуть мерцающие старые чердаки. Вдохновленный примером Меньшикова, раскопавшего подле одного совхозного коровника черное серебряное блюдо и несколько редких, петровской чеканки, медных монет, похожих на обломанные с конвертов почтовые сургучи, Крылов копил на хороший металлоискатель.

Профессор Анфилов читал начинающим гуманитариям длинный и занудный историко-философский курс. Обыкновенно университетское начальство, следуя административному инстинкту, благоволило занудам – но Анфилова просто ненавидело, а отчего не вышибало, непонятно. Сдать Анфилову экзамен было возможно только при условии знания лекций, никак не заменяемых библиотекой и представлявших собой концентрированный коктейль из источников, чей рецепт словно бы содержал особый фирменный секрет. Факультетские эфемериды, бледные нежные прогульщики, на которых скука анфиловских лекций действовала наподобие хлороформа, накануне зимней сессии восполняли свое отсутствие сложнейшей мимикрией – но практически все погибали в ледяной экзаменационной комнате, где профессор сидел в угловато накинутом пальто, цокая белыми ногтями по столу. Анфилов был высокомерен, почти не глядел на собеседника. Казалось, что в сознание профессора встроен специальный таймер, отмеряющий точное время всякого общения независимо от желания оппонента; как только устройство срабатывало, Анфилов прерывал чужую речь, вскидывая ладонь с каллиграфической, чем-то донельзя оскорбительной латынью. Сам он в свою очередь идеально укладывался в академический час: стоило ему сцарапать с кафедры испещренные листки, как в коридоре тут же дергал электрический звонок.

В сущности, профессор провоцировал окружающих доискиваться основы такого чувства собственного достоинства, которое кололо каждого в незащищенное болезненное место. Иные робкие склонны были приписывать профессору тайные заслуги вплоть до иностранных орденов, другие не менее трусливо объявляли Анфилова полным ничтожеством. Что касается первокурсника Крылова, то он увидел натуру профессора как прозрачность высочайшего качества: абсолютно твердую пустоту, внутри которой нет ничего распознаваемого обителем людьми, но сама она существует в кристаллизованном виде и достигает максимальной цены за карат. Втайне Крылов восхищался Анфиловым: его гротескными чертами, его породистым профилем – всем странным анфиловским обликом, в образовании которого, казалось, участвует воображение наблюдателя; при этом было совершенно понятно, что ни в каком наблюдателе профессор не нуждается – и меньше всего в первокурснике Крылове. Наоборот, окружающие недоброжелатели нуждались в профессоре – хотя объяснить, в чем состояла эта нужда, было почти невозможно, разве уподобить Анфилова фигуре, какая возникает при гадании на воске или на кофейной гуще и о чем-то сообщает или свидетельствует. Было поэтому грустно думать об исчезающих поколениях студенческих конспектов – много-многого рукописного издания трудов Анфилова, где пропадали, быть может, оригинальные мысли профессора, которые он не желал разжевывать для умеренно заполненных аудиторий, лунных скупающих лиц.

Разумеется, Анфилов, читая лекцию потопку, не замечал первокурсника Крылова, предпочитавшего по школьной памяти располагаться на галерке. Не заметил он его и на экза-

мене, брезгливо дернув щекой и нацарапав в новенькой зачетке “удовлетворительно”. Однако весной в квартире у Фарида, куда перед отправкой на север подтаскивали снаряжение и куда наутро должен был подойти линияльный газик от дружественных топографов, Анфилогов немедленно выпер взглядом своего студента в тесноте шестиметровой кухни, где курящие стояли, будто в лифте. “Василий Петрович”, – наново представился профессор, двинув в сторону Крылова узкую ладонь; пожимая ее, Крылов ощутил костистую силу и шершавые орехи мозолей. Сказать по правде, он не ожидал увидеть у Фарида такого ладного и ловкого Анфилогова, одетого в застиранную, словно обметанную ватой клетчатую рубаху и защитные штаны, стянутые залоснившимся ремнем; еще меньше он ожидал, что профессор окажется тем самым Василием Петровичем (для элиты – просто Петровичем), про которого говорили, будто он и с Каменной Девкой общается по-деловому, вовсе не поддаваясь ее нечеловеческому обаянию, потому что ничьему обаянию не поддается вообще. Еще утверждали, будто денег у Василия Петровича побольше, чем у иного оптовика, перегоняющего в Израиль для огранки полученное от хиты рифейское сырье.

По всему, Анфилогов тоже собирался в поле; его серьезный станковый рюкзак, помещавшийся сбоку от экспедиционной поклажи, завалившей темноватый беззеркальный коридор, представлял собой идеал рюкзака. Немного погодя профессор обратился к Фариду, указав секундным взглядом на смущенного Крылова:

– Этот едет?

– Нет, помогает, – уклончиво ответил Фарид, мешая в фиолетовой кастрюле толстый слой запузырившихся пельменей.

– И как он? – спустя небольшое время продолжил расспрашивать Анфилогов.

– Вполне, – Фарид был, как всегда, немногословен, и, как всегда, интонация его чуть-чуть противоречила смыслу.

– Понятно, – профессор, чего никогда не делал в университете, затянулся извлеченной из нагрудного кармана дамской сигареткой. – Зарабатывает?

– Так...

Фарид уже вычерпывал кушанье на подставляемые со всех сторон трещиноватые тарелки, курильщики, разгоняя разбавленные форточным холодом табачные слои, потянулись в комнату. Крылов решительно не понимал, чем был вызван внезапный интерес Василия Петровича к его персоне. Быстро прикончив обжигающую порцию на дальнем краешке стола, ломившегося не от блюд, а от множества облокотившегося, налегшего, шумного народу, Крылов, как скромный гость, отошел к Фаридовым коллекционным стеллажам и там в который раз подпал под очарование спящего вещества, футуристической архитектуры друз, еле впускавших в себя глухой, недостаточный для комнаты электрический свет. Пока он так стоял, Анфилогов на минуту, совершенно молча, возник за его спиной, появился в стекле, словно заключенная в нем голограмма, с волнистым лоснящимся носом и отчетливой рубашечной клеткой; Крылову показалось, что вот сейчас профессор сзади тронет его за плечо, – но тот, отстранившись, исчез.

\* \* \*

После Крылов убедился, что любопытство к нему Василия Петровича не было чем-то исключительным. Анфилогов любил и умел организовывать людей, подбирая их себе там, где находил, по каким-то совершенно несомненным для профессора признакам. Вокруг него образовалась группа, структурированная совсем иначе, нежели хита. Профессор многих свел, но при этом отнюдь не подружил: знакомя людей, он становился не мостиком между ними, но непроницаемым препятствием. Было немисливо вообразить, чтобы кто-то из его подопечных, сойдясь, вытеснил профессора из нового и общего пространства; всем подсознательно виде-

лось, что, прежде чем понять друг друга, следует разгадать Анфилогова – но именно это было невозможно.

Система, созданная профессором, основывалась на принципе холдинга – Анфилов умел привлечь и выделить лидера, через него управляя другими, даже и лично ему не известными, – плюс на художественной конспирации, в которой профессор имел природные способности, подобные, по-видимому, способностям математическим и отчасти музыкальным. Можно было годами посещать Анфилового по делу и принимать своих же партнеров, регулярно встречая их в подъезде, за соседей профессора по лестничной клетке. При этом псевдожильцы выглядели как-то убедительнее, чем обитатели подлинные – стертые статисты в том узнаваемом роде одежды, на которой буквально написано, что ее лет двадцать производят в неизменном виде одни и те же фабрики. Этот любопытный контраст, если кто-то его замечал, давал представление о внутреннем складе Анфилового, стремившегося управлять реальностью, отчасти подменяя ее чем-то мнимым, а то и фантастическим. Система, организованная профессором, эффективно работала на бизнес – но не только. Этот таинственный люфт волновал и притягивал молодого Крылова; ему казалось, будто человек, в своем естественном виде радикально отличавшийся от себя же в университете, не только профессор Василий Петрович Анфилов, но и кто-то еще.

Выполняя поручения курьерского характера (передавая иностранной старушке, похожей на пиратского попугая, почти совсем пустые конверты, содержавшие в нижнем углу какие-то мелкие предметки, коловшиеся сквозь бумагу, будто канцелярские кнопки), молодой Крылов сделался вхож в профессорскую квартирку; ее единственная комната, где профессор, аристократически не признавая сидения на кухне, принимал ученика, пропорциями напоминала строительный вагончик, отчего казалось, будто остальное помещение замуровано томами. Уровень этой недвижимости явно не соответствовал финансовым возможностям Анфилового. Слухи, разумеется, ничего не значили, но Крылов своими глазами видел у профессора бумажник, в котором долларов было столько, что это в первый момент напоминало толстенную книгу. Нетрудно было сделать вывод, что Анфилов откладывает жизнь по накопленным средствам на какое-то иное, скорее всего, зарубежное будущее.

Между тем прошлое профессора, воплощенное в побитой, похожей на беременную таксу панцирной койке, в стариковской посуде с серыми ободками на месте бывшей позолоты, в результате экономии хозяина все больше укреплялось. Казалось, инвалидные чашки и тарелки, пережившие свои сервисы, уже никогда не разобьются, никогда не потеряется и не будет истрочена мелкая монетка, окаменевшая на книжной полке наподобие трилобита. Что-то подсказывало молодому Крылову, что прошлое не теряет времени и скоро никакие денежные рычаги не выбросят Анфилового в светлое будущее.

Общение проходило не то чтобы в душевной, но во вполне человеческой обстановке. Профессор угощал ученика крепчайшим чаем смолистого цвета, который, остывая, тут же начинал горчить. Сам хозяин высыпал в свою полуведерную чашку четыре ложки сахара, но не размешивал, а только вкруговую покачивал питье и схлебывал его слоями, добираясь до полужидкой сладости на дне; попробовав сделать так же, Крылов обнаружил, что донная смесь напоминает по вкусу свежую кровь. Постепенно он рассказал Анфилову про детское свое увлечение знаменитыми алмазами, про волшебные кристаллы в музее. Профессор слушал внимательно, глядя, однако, мимо Крылова, как если бы вместо гостя в комнате звучало радио. Ответно (по прошествии нескольких месяцев) профессор показал Крылову свою легендарную коллекцию, хранившуюся не на стеллажах, как у Фарида, а в разношенных тяжестях картонных коробках из-под бананов и сигарет.

Едва увидев первые образцы (у коробки, вытянутой из-под койки, целиком оторвался разлохмаченный бок), Крылов сообразил, что перед ним нечто специфическое. К тому моменту он уже знал достаточно о законах формирования кристаллов, об их подобию живой



природе, заключавшемся в питании и росте. Коллекция Анфилогова представляла собой кунсткамеру – собрание уродцев с измененным габитусом. Тут были продукты всех неблагоприятных условий и калечащих событий в жизни кристаллов. Адская теснота подземных полостей, пиритовые присыпки и другие паразиты, удушающие материнский кристалл и провоцирующие многоглавый рост, сверхнеподвижность питательной среды, где получают «голодные», похожие на рыбы остовы скелетные формы, – все это произвело на свет увесистые нетки, которым лишь любовное знание специалиста могло служить разъясняющим зеркалом. Одна за другой перед Крыловым представляли гротескные друзы, где была видна навеки застывшая мучительная борьба кристаллов-зародышей, геометрическая трагедия в молочной мути хрустали; хищные кристаллы с жертвой внутри – замещенным кристаллом-фантомом, оставшимся только в виде голограммы, призрачного клина; кристаллы с переломами в разных стадиях регенерации, похожие то на распухшие суставы, то на вязко склеенные леденцы. Перед Крыловым явилось окаменевшее кино, показывающее борьбу ориентированного поля кристалла, его невообразимо медленного, совершаемого в собственном времени ракетного запуска в пространство – и хаоса горизонтальных событий, простого времени, раскрошенного на небольшие грубые куски.

Нетрудно было понять, что кунсткамера Анфилогова стоит немалых денег. Столь выразительные редкости весьма ценились коллекционерами, так что под профессорской койкой пылилось в соседстве бархатно гниющих яблочных огрызков целое состояние. По характеру коллекции профессора можно было заподозрить в психическом сдвиге, геммологическом варианте садизма; однако Крылову он представлялся скорее чем-то вроде медика, собирающего случаи патологии, имея в виду идеал здоровья: безупречный, энергетически оптимальный кристаллический индивид. В борьбе между порядком и хаосом Анфилогов явно был на стороне порядка. Между тем в его уродцах, хранимых глубокими ячейками и нежными гнездами папиросной бумаги, было и нечто невыразимо трогательное: их небольшие зоны прозрачности, словно оттаянные теплым дыханием из трещиноватого льда, выглядели в коренастых, сиамских, дистрофических телах будто их удивительные души. О душах Крылов как-то сумел высказать профессору. Анфилогов посмотрел на своего студента с отстраненным удивлением, и некоторое время брови его гуляли по лбу совершенно свободно.

– Покажите руки, – вдруг потребовал он экзаменационным голосом.

Крылов машинально, тем ритуальным жестом, которым недоросль показывает родителям или дежурному по классу, что руки чистые, протянул профессору не очень чистые ладони, на которых линии судьбы напоминали жильчатым рисунком крылья бабочки-капустницы. Анфилогов посмотрел и зачем-то даже помял, нащупав в правой кисти самую тугую и болезненную жилку.

– Очень хорошо, – сказал он наконец. – То-то я смотрю... Ну ладно. Юноше пора заняться делом. Послезавтра у нас небольшая экскурсия. Надеюсь, вы понимаете, что я беру с вас подписку о неразглашении. Посмотрим, выйдет ли толк, – после чего профессор еще какое-то время выбивал на разных плоскостях ритмичные шифровки и коварно посмеивался.

\* \* \*

Экскурсия состоялась через неделю. Анфилогов привел Крылова, от волнения нацепившего свой первый в жизни сто долларовый галстук, в земляной квадратный дворик, замкнутый сырыми домами позапрошлого века, чьи некогда нарядные балконы напоминали теперь стариковские вставные челюсти. Перед парадными располагались не крылечки, а обшитые драными досками углубления, похожие на детские песочницы. В подъезде, куда Анфилогов любезно направил экскурсанта, остатки мраморных ступеней, протертых чуть ли не до дыр, вели на этажи, а рядом стояла железная дверь в полуподвал, снабженная обычным квартирным звон-

ком. Нажав на кнопку, профессор насмешливо оглянулся на Крылова, уже извозившего в желтой известке строгий пиджачный рукав.

Им открыл упругий, итальянского типа толстячок, на макушке которого светилась, как луна в кудрявом облачке, нежная лысинка; никто из знавших впоследствии хозяина душных секунд не опознал бы в этом свежем человечке своего унылого знакомого.

– Налоговая? – толстячок веселым взглядом мазнул по смущенному Крылову, на что профессор комически развел руками и сокрушенно вздохнул. – Шутка! – заорал толстячок и сам, не дожидаясь никого, расхохотался, потряхивая грушевидным животиком.

Очень скоро заперев за вошедшими комбинацию замков, толстячок вприпрыжку ссыпался по узенькой железной лестнице; уже совсем внизу Крылов услышал пересыпанные легким треском зудящие и грызущие звуки – звуки обработки камня, – которые впоследствии, едва возникнув, будут исчезать из профессионального слуха, превращаться в особую плотную тишину, почти не пропускающую слов. Тут же он почувствовал на губах неприятную вибрацию, как бы тонкую и жесткую звуковую пыль, и нервно облизнулся.

Помещение, куда Крылова привели, похлопывая по плечу, было, как он сразу догадался, частной камнерезной мастерской. До того он камнерезки не видел, и ему показались в диковину станочки, похожие на ножные швейные машинки, на которых два работника с одинаковыми оттопыренными ушами резали расчерченные сложными линиями куски малахита. Рядом вращались, смачиваясь в железной ванне, обдирочные колеса, крепко прикладываемые к ним заготовки шипели, будто угольки. В помещении было тепло и сыровато, словно в остывающей бане, мастера сидели в пропотевших майках и брезентовых фартуках, их копченые мокрые шеи напрягались, когда к заготовке прилагалось усилие человека и станка. Крылов среди этой обстановки выглядел будто нарядившийся выпускник. Почему-то он думал, собираясь идти с Анфиловым, что его ведут поближе познакомиться с иностранной старухой, что будет какое-то светское место, пышный кофе с корицей, целованье шишковатой старушачьей лапки, конспиративный разговор.

Следующее помещение разительно отличалось от предыдущего. Здесь было относительно чисто. Перед мастерами, сидевшими в белых, достаточно свежих халатах, располагалось оборудование, напоминающее гибрид допотопного проигрывателя и школьного микроскопа. Вращались, вальсируя проплешинами, поношенные диски, прижимаемые к ним вручную ограничительные головки извлекали шипящую, странно гипнотическую музыку. Вокруг “проигрывателей” лежало и стояло много мелких любопытных штучек; заглянув через ближайшее плечо, Крылов увидал в коробке два полуограненных, по-кошачьи ленивых золотистых берилла. Ему немедленно сделалось понятно, что это были за “кнопки” в анфиловских конвертах.

Между тем Анфилов, беззвучно растягивая губы, заклеенные, будто эластичным скотчем, непроницаемым гудением, что-то говорил и подталкивал Крылова в боковую дверь. Там обнаружилась курилка плюс небольшое, крайне неопрятное чайно-кофейное хозяйство. Двое гранильщиков сосредоточились в углу над тремя как бы противоборствующими бутылками пива, тогда как множество других бутылок, подобно срубленным шахматным фигурам, стояло на полу. Они одновременно посмотрели на вошедших розовыми мокрыми глазами, потом переглянулись и дисциплинированно двинулись вон, из чего Крылов заключил, что разговор между партнерами предстоит финансовый. Сам он, оставшись, ощутил себя лишним и, чтобы не маячить, потихонечку влез за качнувшийся стол, на котором стояла неоконченная пивная партия и обросшая мшистым сигаретным пеплом банка из-под шпрот.

Досада боролась в Крылове с предвкушением перемен. Он уже не жалел о несостоявшемся светском мероприятии: в нем созревало предчувствие, что случай изменить свое обидное положение молодой бездарности предоставляется здесь и сейчас. Поэтому он терпеливо сидел, поджимая пальцы в неуместной праздничной обуви, стараясь не повалить ногами пустые бутылки. Тем временем партнеры и правда занимались финансами, то и дело показывая

друг другу свои калькуляторы, на которых, по-видимому, выходили разные цифры; при этом Анфилогов становился все веселее, толстячок же, напротив, омрачался и не попадал курчавым указательным в мелкие кнопки. Это, впрочем, вовсе не значило, что дела толстяка оказались хуже, чем он думал полчаса назад: Крылову было уже известно, что магниевая веселость Анфилогова сама по себе заставляет окружающих как-то скучнеть, а нервная женщина может даже заплакать. Наконец они закончили подсчитывать; от Анфилогова к партнеру, минуя стол и видимость, перешли какие-то деньги. Далее толстяк, имея важный вид лежачего, у которого из губы только что выдрали крючок, оборотился всем коротким телом к молодому гостю.

– Значит, не налоговая. Значит, Ванька Жуков, – произнес он обиженно, глядя на крыловский переливчатый галстук. – Да с чего ты взял, что у юного друга способности?

– Чувствует камень, – коротко ответил профессор, сцарапывая с дамской сигаретной пачки нежный целлофан.

– Хоть что-то умеет?

– Ровно ничего, – Анфилогов был невозмутим.

– Ну, замечательно! – воскликнул толстячок. – Тут у меня не училище! У меня работают люди со специальным образованием! С огромным опытом!

– Одни старики, – заметил Анфилогов, играя бровями. – Кроме того, алкоголики, – он выразительно глянул под стол, где тотчас случился громкий стеклянный обвал.

– Ну ладно, ну ладно, – толстяк завертелся, избегая хлынувшего под ноги стекла. – Упражняться будет на твоём сыре!

– А у тебя имеется другое? – вкрадчиво спросил Анфилогов, деликатно капнув пеплом, точно птичка светленьким пометом, в замшелую жестянку.

Тут толстячок на минуту вытаращился, образовалась пауза, и в ней Крылов ощутил, что волнуется и что совершенно зря надел сегодня шерстяной костюм, под которым ползли, щекоча его худые ребра, теплые капли. Все-таки и здесь, за плотными дверьми, сильные шумы производства запечатывали слух, и спорящие, буквально глядя друг другу в рот, звучали словно с изнанки, каждый в своем воздушном пузыре. Некоторое время до Крылова доносилось: “Абразив нынче дорог!..”, “Договор аренды...”, “Ты мне не ставил таких условий...”

Внезапно снаружи выключился, тем обнаружив себя, какой-то механический надсадный ультразвук. В наступившей ясности обиженный толстяк захлопал по своим бумагам, отрясая с ладоней прилипшие листы, а тихо лучившийся профессор внятно откашлялся.

– Ладно, ну ладно, уговорили, – плачуще произнес хозяин камнерезки, растирая кругами левую грудь. – Только пусть он упражняется без зарплаты, зарплаты я ему четыре месяца не дам.

Это Крылову не понравилось совсем, но он сказал себе: “Посмотрим”.

Вздыхая маленьким ртом, хозяин камнерезки дотянулся до звонка на захватанной стене, и где-то в помещениях забила словно бы пожарная тревога. Тотчас шамкнула пухлая дверь, впуслав сердитый звук, как будто мимо пронесся мотоцикл, а также одного из пивших пиво мастеров – косоплечего, мощными, как бы нефтяными пятнами пропотевшего мужика, с большим лицом, похожим на седло.

– Заходи, заходи, Леонидыч, – с нехорошей радостью приветствовал его хозяин камнерезки, развалившись на стуле и выпустив брюшко. – Раз уж ты зашел, то вот тебе и ученик.

Крылов приподнялся на полусогнутых, изобразив полупоклон.

– Зачем? Мне не надо, – неожиданным тенором произнес Леонидыч, даже не взглянув на предложенного Крылова. Вместо этого он смотрел на пивные бутылки, попеременно на свою и на чужую.

– Придется, Леонидыч, придется, – иезуитски-ласково отозвался толстячок, почесывая на рубашке вздыбленные пуговицы. – Инвестор распорядился, куда ж нам, убогим, деваться.

– Да уж, Леонидыч, пожалуйста, – мягко вмешался профессор. – Молодой человек со способностями, сами потом благодарить будете.

– И так премного благодарны, – пробурчал камнерез и глянул исподлобья на осклабленного Крылова. – Ну, пойдем, извозим твой костюмчик, чтобы больше ты его не надевал.

\* \* \*

Учение Крылова шло и дольше, и труднее, чем предполагал профессор. После лекций – а иногда и вместо них – он упрямо и бесплатно топал в мастерскую; по вечерам голова, впитавшая уже не воспринимаемые ухом обдирочные, шлифовальные и прочие шумы, была дурная, как при сильном гриппе. Всех раздражало, что Крылов такой молодой, а разговаривает громко, будто он оглох. Сильно сдавшая мать обижалась на сына за крик; поняв, что криминального авторитета из Крылова не вышло, она теперь выговаривала ему за все гораздо свободней. Крылов, на удивление себе, ее жалел. Возвращаясь с работы совершенно разбитой (с тех пор, как мать давным-давно уволилась из музея, Крылов понятия не имел, где она трудится с девяти до пяти, – и не узнал никогда), эта уже почти старуха с трудом вынимала из туфель распухшие ноги, похожие на медвежьи лапы, и долго отдыхала в прихожей на низкой табуретке напротив полувытекшего зеркала.

– Ты орешь на меня, как отец, – упрекала она Крылова. – Ты стал как две капли воды.

Крылов никакого сходства не видел и не хотел. Он отчетливо помнил родителя – и молодым, похожим на отечного херувима, и сорокалетним дядькой с красной лысиной, опущенной серыми бараньими кудерьками, – но ни в одном из возрастов не узнавал себя в этом чужом человеке, которого перерос уже в четвертом классе. Но спорить с матерью считал совершенно бессмысленным.

В мастерской за Крыловым закрепилась нелепая кличка Налоговая. “Налоговая где у нас?” – “Налоговая режет заготовки”. Крылов сначала думал, что причиной тому – его невыгодность хозяину, зависящему от профессора и вынужденному заплатить, приняв ученика, какой-то дополнительный “налог”. Работники – и впрямь по большей части старики, по крайней мере с точки зрения Крылова, принимавшего их красные морщины за признаки пенсионного возраста, – с удовольствием оттягивались, имея под рукой “представителя” нелюбимых структур: “Налоговая, лети за пивком!” Но скоро Крылов сообразил, что приносит больше пользы, чем вреда: научившись простейшим операциям, он ловко резал размеченное Леонидычем сырье и лучше всех очищал полуограненные камни от наклеечной смолы. Тем не менее толстяк, ежемесячно плативший мастерам по какой-то своей самодельной ведомости, даже на вид фальшивой, как тринадцать рублей одной бумажкой, Крылова упорно обходил.

Не будучи глупым, Крылов понимал, на какую сумму может претендовать; ветеран супермаркета “Восточный”, он и за меньшую копейку мог совсем недавно врезать по морде. Однако здесь, в мастерской, он странным образом абсолютно не думал о деньгах. То есть вообще-то Крылов не изменился и был нацелен на прибавление баксов в своем кармане. Однако в мастерской, невооруженным глазом распознаваемой как место хитрое, с двойной и тройной бухгалтерией в круглой хозяйской голове, Крылов ощущал себя будто в детском кружке “Умелые руки” – а верней, как в первой своей библиотеке, где книжные руины пахли ванилью и под окнами орал, таская похожий на спеленутую елку неопрятный хвост, сварливый павлин. Словно замороженный, странно равнодушный к собственной жизни за пределами полуподвальных стен, Крылов мог провести сколько угодно времени за грубым камнерезным занятием. Когда в бесформенном, с радугами и грязью кварцевом куске он зашлифовывал “окно”, его интересовало только то, что он видел внутри: прозрачность в ее естественном состоянии, области просветления высшего вещества. Погружением камня в иммерсионную жидкость достигался эффект поистине поэтический: маслянисто грузнея, исчезая из глаз, кристалл обнажался,

как только может обнажиться прозрачная вещь. Происходило то, чего Крылов не мог добиться, мозжа на газетных лохмотьях тетушкину вазу: прозрачность открывалась вовне, покидала пределы своего сосуда – в самом же кристаллическом стакане делались заметны, будто на рентгене, внутренние включения и трещины, иногда напоминавшие хрупких металлических насекомых.

Так Крылов колдовал, ни о чем не заботясь. Вне мастерской ему не нравилось, что его курьерское место при Анфилогове, а стало быть, и легкий заработок достались теперь веснушчатому хитроватому Колянну, прежде ему неизвестному. Однако же беззаботность не совсем оставляла Крылова и по выходе из полуподвала. Поднимаясь во двор (зима стояла волглая, беснежная), он видел под деревьями зеленую землю – хотя, если поискать на газонах, среди сияющего под солнцем холодного мусора ни единой свежей травинки нельзя было найти на месте миража, – а сами деревья, покрытые какой-то пленочной растительной испариной, стояли малахитовые. Крылов догадывался, что вот такие вещи заменяют человеку деньги, что таких вещей вокруг довольно много. Потому он не враждовал с Коляном, хотя улыбка нового товарища, сопровождаемая как бы нюханьем нахальных соломенных ушей, казалась ему глумливой.

Почти ежедневное присутствие “налоговой”, очевидно, стесняло хозяина камнерезки. Крылов догадывался, что толстяк не очень-то верит в его ученичество и особые таланты, а думает, что Анфилогов посадил ему соглядатая. Крылова остерегались. Поглощенный своими прозрачностями, он чувствовал, что за спиной его происходит гораздо больше, нежели перед глазами, и это было неловко, неприятно – как ходить в костюме, надетом задом наперед. За спиной прощмыгивали смутные личности, обдавая Крылова острыми запахами, которые стремление быть незаметными только усиливало. Должно быть, надень такой деляга шапку-невидимку, он вонял бы, как невидимое мусорное ведро.

Жизнь в мастерской не могла замереть; боковое зрение Крылова все время улавливало какие-то призрачные манипуляции. На самом деле он давно срисовал всех деловых хозяйских знакомцев – тоже толстых или по крайней мере склонных к полноте, представлявших собой словно живой каталог от легкого ожирения (морда как литр молока) до эксперимента природы. Привыкшие являться в мастерскую как к себе домой, эти экземпляры первым делом начинали жизнерадостно орать; несмотря на то, что крика их было почти не слышно – каждое слово тотчас стиралось производственными шумами, – хозяин пугался и виляющим движением, похожим на попытку под одеждой поправить белье, указывал посетителю на затаившуюся “налоговую”. Тотчас посетитель прихлопывал свое говорение растопыренными пальцами, над которыми моргали тревожные глаза, и как бы с полным ртом трусил за озабоченным хозяином в укромную курилку.

Та серьезность, с какой толстяк относился к своим секретам, делала его абсолютно управляемым; его попытка задержать Крылова на бесплатной и черной работе кончилась ничем. Анфилогов пошевелил указательным пальцем, и асимметричный Леонидыч, чьи печальные глаза с оттянутыми книзу уголками отливали нездоровым золотом и кровью, дал Крылову самостоятельно работать с малоценным горным хрусталем.

После ампутации всего ненужного камень становился до смешного мал, заготовки для ступенчатой огранки напоминали у Крылова конфеты-подушечки с начинкой из варенья.

– Не делай большие, делай в аккурат, – обучал Леонидыч и доводил заготовку на грубом абразиве, оставляя одно “варенье”. – Не жалея ты лишнего, – советовал он, шурясь на будущее изделие, что светилось против окошка, будто его, окошка, маленькая копия. И, вздохнув, добавлял непонятно: – Вообще ничего не жалея.

Леонидыч был Крылову не друг; по сути, учитель и ученик с трудом принаравливались держаться рядом – оба были слишком угловаты, сталкивались локтями, каждому надо было больше индивидуального пространства, чем любому толстяку. Однако же Крылову нравился мастер – то, например, как тщательно бреется Леонидыч, выглаживая длинные щеки до мело-

вой чистоты. Это было важно в мастерской, где слова понимали больше по губам; в отличие от бородатых и усатых камнерезов, чьи речи шевелились будто пальцы в рукавицах, узкий рот Леонидыча, тоже словно тронутый мелом, двигался совершенно отчетливо, позволяя читать произнесенное с другого конца помещения.

На первых порах смятенный подмастерье, чья неуверенность делала ватными не только руки, но и ноги, отнимавшиеся под столом, совершал все типовые ошибки новичка. Из какой-то болезненной честности перед прозрачным Крылов располагал дефекты прямо под площадью камня – и Леонидыч только помаргивал, колупая ногтем через полировку серебристую чешуйку. Поторопившись, подмастерье мог обнаружить, что отшлифованный камень весь исцарапан, будто кошачьим когтем, песчинкой грубого абразива. Камни скалывались, трескались при нагревании, криво садились на смолу: казалось, будто руки у Крылова работают где-то очень далеко от головы. Самое же главное – ему никак не давались пропорции бриллианта. Камни его получались тусклые, “спящие”, словно свинцовые. Многократно вздыхая, Леонидыч брался за “пуговицу” и уменьшал высоту павильона, легкими прижиганиями о круг доводил фасцеты: возникала вспышка, камень становился лучистый, смеющийся. Крылов, как таблицу умножения, зубрил ограночные углы. Постепенно он научился делать свою работу, у него получалось разве что немного хуже, чем у Леонидыча; анфилоговские представления об его таланте никак не подтверждались.

\* \* \*

Потом, через полгода, Леонидыч погиб, и Крылов получил от мастера странное наследство. Может, получил он его благодаря тому, что все произошло при нем. Леонидыч носил при себе глуповатую вещь – мужскую сумочку пухлого дерматина, всю в золотых сережках от замочков-молний, на нее-то и польстился неизвестный урод, болтавшийся в темном дворе.

В тот вечер мастера основательно посидели за пивом; было примерно начало двенадцатого, когда они, гомоня, вывалились на свежий воздух, пахнувший сиренью. Ранняя ночь начала июня была прозрачная. Она создавалась словно из размываемых темных предметов, из их разреженных пигментов, в то время как светлые вещи были отчетливы, и ясней электрических окон светилось на веревках чистое белье. Во дворе еще звучали детские голоса, пухлый ребенок, свешивая кудри, раскачивался на сонно поющих качелях, и сам он со своей железной трапецией был настоящий, а перекладины качелей были словно нарисованные. Леонидыч, предпочитавший в подпитии держаться отдельно, как бы в столбняке собственных остановившихся мыслей, топал немного впереди, словно измеряя твердо расставляемыми ногами ширину дорожки – которая, казалось, никуда не вела, а стояла светлыми пятнами в серой траве. Никто не успел заметить, откуда вывалился убийца. Маленький, с каким-то белым хохолком на голове, он на секунду припал к Леонидычу, точно пытался спрятаться за ним от его неспешных товарищей, – и тут же отскочил с перекошенным лицом, словно мастер каким-то ужасным образом обманул доверие прильнувшего к нему человечка, сотворил над ним что-то невообразимое, отчего черты незнакомца стали как убитая муха на белой стене. Тотчас маленький бросился прочь, приплясывая на бегу, а Леонидыч медленно повернулся, и колени его подкоились в одну сторону, а сам он осел в другую.

Истерический женский визг раздался с дальнего балкона; мастеров обнесло внезапным ветром, точно хмель, у каждого отдельный, вдруг слился в общую тяжелую волну. Непонятно как Крылов уже стоял над Леонидычем на коленях, беспомощный, с пьяной головой. Леонидыч еще не умер и странно отворачивался от Крылова, улыбаясь тусклыми зубами, из-под ребер его толчками выходила жирная кровь, и майка на животе была как внутренняя плева – органическая, нежно-кровянистая, измятая ударами ножа. Над Леонидычем тихо надувались папиросные пододеяльники; красной рукой Крылов содрал с веревки махровое полотенце. Шершавое,

захоладовавшее, как наст, полотенце очень скоро сделалось мягким, теплым и таким тяжелым, какой бывает только тряпка, набравшая крови, сколько может удержать; Крылову казалось, что это полотенце весит едва ли не больше самого Леонидыча, что в тряпку перешел телесный вес умирающего мастера, – и так оно и было в действительности. Тут в голове Крылова произошло раздвоение: он держал в руках набрякшую, каплющую, отнятую жизнь Леонидыча, а другой Леонидыч, уже почти отмененный, лежал перед ним с подогнутыми ногами и неестественным лицом, которое словно уменьшалось на глазах в высокой призрачной траве. Крылов ничего не чувствовал, кроме стороннего интереса, будто наблюдал события телевизионного фильма. Он видел в откинутой – короткой – руке Леонидыча рваную петлю от дурацкой похищенной сумки; видел, как желтые радужки его вдруг утратили прозрачность и стали будто засахаренный мед. Через небольшое время во двор прилетели машины с тающими в сумерках холодными мигалками – но ни менты с их служебными рожами, ни врачи, ходившие в белом среди упавшего с веревок угловатого белья, ничего не могли изменить.

После смерти Леонидыча Крылов утвердился в идее, что чувства человека есть плод его воображения. Собственную бесчувственность он объяснял абсолютной реальностью того, что происходило во дворе, – реальностью, не допускавшей никакой отсебятины. Был черный пластовый спальник, в который застегнули Леонидыча, был темный след от убранного тела, похожий на залитый костер. Чувства – где они? Никаких следов. Теперь Крылову представлялось, что мать, то и дело пускавшаяся в слезы по отцу и по жизни вообще, давно заметила реальность своим переживанием; поэтому едкая слезная влага, всегда имевшаяся у нее в запасе, вызывала у него одну неловкость и желание поскорее отвязаться. Между прочим, выяснилось, что у Леонидыча была семья. Всем казалось, будто он живет бобылем в какой-нибудь холостяцкой берлоге, где входная дверь обита изодранной клеенкой и на ней с обратной стороны висит топор. Но поминали мастера в просторной квартире, уставленной от пола до потолка рядами почтенных, хорошо протертых книг, и в одной из длинных комнат тихо сидели белоголовые дети, а у вдовы, плавно носившей из кухни высоко наполненные блюда, почерневшее лицо под траурной косынкой казалось серебряным.

После убийства мастера все вокруг словно отодвинулось, стало отчасти нарисованным: Крылова не оставляло ощущение, будто мир вокруг имеет больше отношения к покойному, чем к нему самому. Одновременно он догадывался, что присутствие при нечаянной смерти каким-то образом его изменило. Что-то перешло от Леонидыча к нему в ту самую минуту, когда Крылов держал на весу, точно новорожденного младенца, его еще живую, желающую течь и шевелиться, еще не уснувшую кровь. Не сказать, что Леонидыч был особо талантливый мастер, но какая-то его бессмертная частица, содержавшая нужные ингредиенты, вдруг соединилась с возможностями, что дремали в подсознании Крылова. Это было как инъекция глубокого спокойствия, блаженной неуязвимости для происходившей вокруг суеты – и, должно быть, широкая ухмылка Крылова настолько не соответствовала криминальному моменту, что прибывший следователь, хмурый мужчина с двумя менявшимися справа налево и слева направо выражениями лица, особенно долго и въедливо составлял на него протокол.

Скоро Крылов сообразил, что до сих пор боролся с хитростями оборудования, тогда как настоящим прибором является прозрачность, преломляющая свет. Ощущение было такое, будто он переложил рычаг оправки из левой руки во всезнающую правую; на четвертый день после похорон Леонидыча он предъявил толстяку свой первый самостоятельный овальный бриллиант – обладавший уже тем характерным, сложным, как рисунок птичьего оперения, оптическим сверканием, по которому впоследствии бриллианты работы Крылова распознавались с первого взгляда и выделялись в каждой партии, отправляемой Анфиловым по тайным и прибыльным путям.

Вдруг Крылов почувствовал себя свободным от ограночных таблиц. Теперь, только подняв кусок сыря к отражателю лампы, он уже понимал его внутреннее устройство, как пони-

мает математик простую теорему; он видел, как располагаются внутри будущие заготовки – будто зерна в неправильном, странном плоде, – и сразу угадывал те повороты, при которых прозрачность наиболее активна. Зональность цвета не составляла для него проблемы – скорее любопытную задачу по сгущению просветленного вещества, так что за спиной Крылова стали говорить, будто мастер красит камни с помощью какой-то специальной обработки. На мелкие дефекты Крылов вообще не обращал внимания – камень сам смаргивал, как глаз, свои соринки, – в крупных же включениях и трещинах видел историю развития кристалла, его особенную нервную и светоносную систему.

Освоив вслед за огранкой искусство резьбы, он никогда не обольщался теми растительными жильчатыми эффектами поделочных камней, которые так нравились старым рифейским мастерам, резавшим листья и ягоды с наивным подражанием лесу и огороду. Беря в работу только прозрачные большие хрустали, он изготавливал коллекцию призраков, многие из которых имели портретное сходство с реальным человеком. Теперь уже дефекты материала выглядели как душевные состояния этих прозрачных существ. Был тут и Анфилогов с облачным пятном во лбу, и несколько гротескных толстяков из числа хозяйских знакомцев, и маленький Леонидыч, похожий на мокрую сосульку. Дополненные белыми чертами гравировки, отшлифованные до матовой влаги внутри хрусталя, бюстики напоминали румяные темнотными румянцами фотографические негативы. Однажды с коллекцией ознакомился очередной приятель хозяина камнерезки, представительный мужчина в шкиперской бородке, лицом напоминавший камбалу в костистых плавниках. Тут же он попытался переманить Крылова в занимавшуюся похоронным бизнесом фирму “Гранит” – соблазняя мастера не только деньгами, но и творческими возможностями, поскольку фирма возводила знаменитые аллеи криминальной славы с памятниками в полированных костюмах и дородными колоннадами среди слюдяных кладбищенских берез. Анфилогов, моментально про это узнав, вызвал ученика на внеочередное чаепитие; внимательно оглядев Крылова через стол, где на этот раз золотились во французской бутылке слоем чуть толще массивного дна остатки дорогого коньяку, профессор предложил воспитаннику долю – процент от всякого камня, который Крылов сработает из анфилоговского личного сырья.

По самым скромным подсчетам, то были неплохие деньги. На удивление Крылов не ощутил от цифры и половины радости, какую испытывал прежде, заработав малую долю того, что теперь ежемесячно, по словам профессора, будет плыть ему в карман. Отсутствие радости было звонком, заставившим Крылова хорошенько посмотреть на себя. Очевидно, он перестал быть тем сердитым и злопамятным подростком, что не желал проигрывать окружающей действительности. Сейчас Крылову было двадцать три, и он хотел пожить ни о чем не заботясь. Он не испытывал по поводу денег никакого энтузиазма. Очевидно, он повзрослел – и повзрослел неправильно, не так, как требовала жизнь. Впрочем, он вежливо поблагодарил Анфилогова и пожал протянутую через стол аристократическую руку – вторично за время их знакомства.

– После диплома куда намерены трудоустроиться? – поинтересовался профессор, наклоня к бокалу гостя горлышко бутылки. Профессор был в простой, как наволочка, поплиновой рубашке с бельевыми пуговками, с волнистыми зачесами в мокрых волосах – домашний и свой человек, и рука его после недавно принятой ванны была теплее и мягче обычного.

– Предлагают часы в техническом колледже, – ответил Крылов, качая, как его учили, озерцо коньяку в замаслившемся выпуклом стекле.

– Подходяще, впрочем, это ничего не значит, – благодушно заметил профессор, разделяя на своей тарелке резиновый ломоть вареной колбасы на мелкую мозаику, переложенную горошком. – Главное, что свободного времени у вас останется достаточно. Вот вы мечтали об археологии, чтобы всякие экспедиции, курганы с золотом, античность... А предстоит учить балбесов, которым не надо ничего и которые ненавидят всякого, кто стоит перед ними у доски. Такова реальность. Но у нас с вами впереди своя наука. Согласитесь, – он нечаянно резанул



ножом по тарелке и поднял на Крылова беззащитные глаза, – в жизни только то интересно и выгодно, что человек устраивает сам.

Чувствуя в желудке электрический жар алкоголя, Крылов рассеянно кивнул.

## Часть третья

То, о чем сейчас будет рассказано, произошло через десять лет после описанных выше событий. Профессор Анфилов, понятное дело, был еще здесь; он не уехал на ПМЖ в какую-нибудь комфортабельную страну – может быть, потому, что еще не собрал достаточно средств, а скорее всего, не желал выходить на пенсию и попадать под управление собственных денег, ожидавших его в стерильном, как клиника, западном банке. Иногда профессору казалось, будто он содержит в Швейцарии близкого родственника, почти что себя самого; пребывая в многолетней летаргии, этот родственник нечеловечески быстро превратился из ребенка (первые четыре тысячи долларов) в грузного старика – каковым стариком профессор себя не признавал и соединяться с деньгами не спешил.

Ему по-прежнему служили все его старые вещи, ставшие незаменимыми. Самое главное, чем за эти годы обзавелся Анфилов, – это круглый аквариум с простейшими рыбками, иногда, по его невежеству, теребившими друг друга насмерть, дымясь и дергая хвостами среди нежных подводных кустов. В аквариуме профессор хранил наиболее крупные камни, чье светопреломление было близко к показателю воды: исчезая из виду, камни становились легкой оптической резью на донных голышах, иногда – едва заметной угловатостью некрупных рыжих раковин размером с сосновые шишки. Неприхотливые рыбы привыкли к тому, что в отсутствие свидетелей к ним забирается, вздувая воду, огромный шевелящийся предмет; выудив сырые сокровища, профессорская лапа, облепленная мокрым мехом, оставляла рыбам их стихию осевшей и мутной, будто выкипевший суп, – и только сохранявшееся несколько часов недовольное выражение воды могло бы сообщить потенциальному вору, что аквариум служит хозяину оптическим сейфом.

Возможно, что-то происходило в мире горных духов: вот уже несколько лет они проявляли беспокойство, пугая хитников холодными кострами, на которых моментально стыла и покрывалась ломким жиром только что кипевшая еда, реже – странным свечением, пробиравшимся из ночных укромных складок местности, будто под землей, как под одеялом, кто-то тайно читал огромную книгу. Лесные старые проселки с колеями как лежбища, в которых спали спинами друг к другу мирные лужи, оказывались перегорожены свежим стволом почему-то сломавшейся осины; бывало, что дерево внезапно падало в нескольких шагах от идущего человека, успевавшего только услышать нарастающий лиственный шум, точно кто выплеснул воду из гигантского ведра.

Вероятно, в поверхностном слое рифейского мира, оскудевшем и грубом, но защищавшем какие-то тонкие сущности, образовались прорехи. Среди хитников забродили будоражающие слухи. Вновь стали оживать легенды о самородном золоте на речке Кылве, богатом сотню лет назад, но исчезнувшем в одночасье, дающем знать о себе лишь желтым металлическим отсветом речной поверхности, которую, точно ногтем шоколадную фольгу, вошил и гладил жесткий ветерок. Опять заговорили о кимберлитовых трубках на севере Рифейского хребта, откуда стали потихоньку просачиваться алмазы, небольшие, но чистотой не ниже VSI: их Крылов узнавал по характерному “кейповому” оттенку, будто в камне растворили немного йода, и по особенному сверканию получавшегося бриллианта, который буквально двоился в глазах от резкой смены световых углов. Предполагали, что Макар-Рузь, скромное месторождение рубинов на севере Рифейского хребта, – всего лишь слабое подобие того, что должно находиться южнее, доступнее. Всякому хитнику было известно, что стоимость высококлассного рубина выше стоимости ограненного алмаза того же качества, каратности и чистоты, поэтому последний слух действовал особенно возбуждающе. Даже невозмутимая элита поддалась распыленной в воздухе бодрящей лихорадке.

Пятидесятилетний Рома Гусев – уже не грозный боец, а сентиментальный дедушка шестимесячного внука, водитель резвой голубой коляски с бубенцами, – первым сделал наблюдение, поразившее многих своей очевидностью. Он заметил, что многие рифейские местности, где ожидаемые по геологическому “адресу” месторождения начисто отсутствовали, стали в последние годы приобретать какую-то видимую достоверность, густоту растительной, животной, рыбной жизни. Впечатление было такое, будто сотни квадратных километров до сих пор существовали в виде копий с нарочито декоративными скалами, сделанными, чтобы обмануть природное чувство красоты, с накопившимися в папоротниках лесными помойками. Теперь же на месте старых вырубок, заросших кривоватой лиственной мелочью, вдруг стали возникать матерые кедровники, чья длинная хвоя тянулась в кулаке, будто роскошная пушнина; высокие лоси с задумчивыми мордами переходили в неполюженном месте загруженные тракты. Внезапно куда-то исчезали (возвращаясь, впрочем, через несколько часов) ржавые остовы брошенной техники. На месте их недолгое время держались видения: нетронутые низинки с томной, будто сонным зельем опоенной медуницей, таинственные лесные прогалы, позолоченные болотца, замшелые, похожие цепкими корнями на куриные ноги древесные стволы.

В доказательство того, что феномены действительно существуют, Гусев предъявлял товарищам хорошо просмоленные, безумно пахнувшие жизнью кедровые шишки, взятые якобы на Кылве, там, где были давно сведены изначальные богатые леса и на низком берегу пылили гравийные карьеры, напоминавшие гигантские пепельницы. Шишки были, конечно, не самородки; тем не менее Анфилогов выслушал Гусева очень внимательно. Единственная ошибка Анфилогова заключалась в его самонадеянном отношении к рифейскому миру, понимаемому как подлежащий освоению трудный объект. Красоту профессор воспринимал как сильный посторонний раздражитель, испытание нервов; его умиротворяли подделки красоты, которые по большей части обретались в городской искусственной среде. Тем не менее профессор был готов, как всегда, отправиться в экспедицию – туда, где исчезал привычный рифейский логотип и возникали картины, о которых Рома Гусев рассказывал с прежним блеском в шалых разбегающихся глазках, сжимая по старой привычке мягкие комья кулаков.

О первой экспедиции за ювелирными корундами не знал никто, даже Крылову было сказано, будто профессор улетает в Прагу на славянский семинар. Летом 2016 года Анфилогов и безраздельно преданный ему двужильный Колян двигались вверх по берегу порожиистой реки, чье название они впоследствии не сообщили никому. Река, вскипая и бухая, разматывалась, будто ткань из угловатого рулона на прилавке магазина; как всякая речка в ее положении, она служила окружающей геологической тверди малым кровеносным сосудом и тащила все те элементы, из которых состояли ее берега. Также дно реки являло породы, из которых складывался длинный глубокий распадок, мрачно заросший синеватыми елями, с редкими лиственными пятнами по впалым склонам, с асимметричным очертанием главной горы, напоминающим нахмуренную бровь. Работа состояла в бесконечной промывке песчаной и каменной каши; вода сжимала резким холодом резиновые сапоги, на шею, на потный припек, садились, преодолев дуновения и брызги, жгучие мошки. Было безлюдно; только однажды, будто съезжая с горы на фанерках, мимо проследовали на своих ныряющих катамаранах сосредоточенные, абсолютно мокрые водники.

Шел одиннадцатый день секретной экспедиции. Простуженный Колян, орудуя широкой алюминиевой миской, накидывал в нее сырое грубое зерно и, напустив воды, раскачивал с мокрым шорохом грузную взвесь, а затем сливал бурчащую жижу в замутившийся поток. В миске ложились полосами черные базальтовые гальки, бурые, с алыми кромками, крошки граната, белые и рыжие кварцевые крупы с блестками слюды. Подняв накомарник, Колян расклеивал добычу и, не находя интересного, вышвыривал вон. В это время Анфилогов разгуливал, согнувшись, по хрустящей галечной отмели, разбирая камни, сверху горячие и синие от яркого неба, а внизу – сырые, с темным кварцевым ледком. Набрав в мешок подходящие (он искал

творожистые пятна) образцы, профессор раскалывал их на валуне, упрямо бычившем лоб в белесых звездах от профессорского молотка. Глухое каменное тюканье скакало вертикально вверх и казалось единственным звуком во всей широкой напряженной синеве с подстеленным понизу ветренным шумом воды и еле уловимым гуденьем паутов, прилипчивых и цепких, как живые жгучие репы.

Издали Анфилогов увидал, что Колян внезапно замер над своим промывочным агрегатом, словно вдруг собрался съесть его отцеженное содержимое. А Колян недоверчиво всматривался в крошечный осколок, вдруг сверкнувший из рыхлой гущи треугольным малиновым огнем. Успокаивая себя, что это, наверное, так, показалось, он осторожно выбрал камешек сведенными от холода сизыми пальцами; пальцы у Коляна были грубые, посеченные такими же, как на промывочной миске, мелкими черными трещинами, – но даже они ощущали материальную, колкую твердость находки. Отставив кривую плешку на горбатый камень, который, будто подушку, обнимала, падая на него, полусонная вода, он выпростал из рукава водонепроницаемые командирские часы – и чиркнул. На закаленном стекле образовалась отчетливая белая царапина – и Коляна прошибло странное чувство, будто выше колен он ненастоящий. Дергая заложенным носом, он погреб черпнувшими сапогами в сторону отмели, откуда шел ему навстречу яркий и маленький на резком солнце, словно одетый в серебряные шоколадные бумажки, совершенно спокойный профессор.

– Василий Петрович! Вот! Василий Петрович! – захлебываясь, Колян еще издали показывал Анфилогову выброшенный на кисть слепящий циферблат.

– Ну, что? Вижу, что половина третьего, – холодно произнес профессор, унимая под выгоревшей штормовкой стесненное сердце.

– Сейчас, гляди сюда, – Колян, подышав из теплого, глупо усатого рта на сведенную щепоть, чиркнул еще: наискось к побледневшей первой легла другая, свежая черта.

– Ага, – произнес профессор, и это тоже прозвучало довольно глупо.

– Корунд, Василий Петрович, я даже больше скажу – рубин! Ювелирка! – Колян осторожно разжал сырые пальцы, к которым прилипла треугольная яркая крошка. Тотчас порывом ветра крошку слизнуло неизвестно куда, и Колян, хляпнув промокшими сапогами, бросился на гальку, скрежетавшую и рябившую в глазах, будто железная панцирная сетка.

– Хорош валять дурака! – прикрикнул сверху Анфилогов, и Колян, отплеываясь от накомарника, послушно поднялся с четверенек. – Все равно не найдешь, – примирительно произнес профессор. – И не надо. Корундик притащило откуда-то сверху. Мы поднимемся и поглядим.

Красная морда Коляна с разбухшим, точно намыленным носом и жидкостью в растрепанных ушах сияла счастьем. В кармане Анфилогова еще с позавчерашнего дня болтался, мягко стучаясь о ногу, кусок доломита с большим корундовым пятном, похожим на обломанный мел. Профессор не сказал Коляну про свою находку, опасаясь, как всегда, делиться радостью и пряча сердце, которое во все это время отзывалось на тяжесть образца таким же весом и угловатостью, точно камней имелось два, в груди и в кармане штанов.

Всю следующую неделю экспедиция двигалась вверх по уменьшавшейся, быстро спустившей весеннюю воду реке, которая то скапливалась, будто в ложке, в естественной маленькой заводи, то уходила, словно складываясь пополам по сверкающему сгибу, в неглубокую скальную крутизну. На отмелях уже буквально сплошь и рядом попадались белые куски вмещающей породы, покрытые сыпью корундов; из них удалось добыть несколько трещиноватых табличатых кристаллов, ценных только как коллекционные образцы. Однако белые жилы в заветренном граните, то сверкавшие колотым сахаром, то напоминавшие старую разметку на потертом асфальте, оказывались пусты. То и дело напарники, банно-красные от укусов мерцающей мошки, поднимались от реки по склонам, лезли сквозь сплошные, турникетами расставленные ели, чьи засохшие нижние ветви напильниками драли крепкие штаны. Анфилогова интересовали верхние выходы матерого гранита; растеребив каелкой войлочный лишайник, он видел

иногда все те же пустые жилы, продолжавшиеся, будто таинственные тропы, с берега на берег и шедшие дальше, в подземную неизвестность. Река продолжала быть источником надежды; там, откуда она текла и куда устремлялась теперь экспедиция, синела не всегда заметная, но при этом страшно запоминающаяся складка горизонта, будто там было что-то тесно сдвинуто вместе, поставлено лицом к лицу.

Анфилов чувствовал, что события, начавшиеся с находки первого корундового пятна, развиваются в определенном ритме, мечта сбывается (при этом в последний, да и в любой момент запросто может не сбыться) по своему естественному графику. Таким образом, Анфилов был спокоен – хотя и жил каждую минуту с повышенным душевным давлением, уравнивая этим давление перенасыщенной внешней среды. Колян же отчаянно рвался скорее в речные верховья и всякое занятие норовил бросать на половине; он то и дело, будто в городе на троллейбусной остановке, поглядывал на украшенные памятными царапинами железные часы, чьи показания имели мало отношения к медленному круговороту солнца, неспешному (обрывистый чуть скорее пологого) ходу речных берегов. Анфилов знал, что торопиться нельзя. Много раз он проживал в воображении такое вот развитие событий, от первой сигнальной находки до богатой, как огородная грядка, самоцветной жилы, и много раз воображение срывалось с тормозов, предопределяя крушение мечты. Теперь, когда мечта развивалась в режиме реального времени, следовало держать в сознании реальность, и только реальность, ни на шаг не забегая вперед, чтобы ненароком не выпасть. Коляну этого было не объяснить. Он сделался лихорадочный, нервный. От внутренней спешки у него развился зверский аппетит; в свою очередь Анфилов, внимательно прислушавшись к ритму событий, распорядился экономить продукты, так что теперь на привалах хитники довольствовались жидким варевом из половины сухого супчика или дебелими макаронами с редкими волокнами тушенки. Иногда Коляну удавалось надергать из речки тонких, мотыльками плясавших на леске голянов; рыбки были настолько малы, что от них в бурлящей ухе оставались одни скелетики, похожие на английские булавки.

Область, куда они входили, обладала именно теми свойствами, какие описывал Гусев. Это, с одной стороны, было хорошо, потому что говорило о верности пути; с другой же стороны, бестрепетный Анфилов чувствовал себя на краю тяжелейшей депрессии. Красота наплывала на него со всех сторон. Анфилов черпал ее, когда хотел приготовить обед, из улыбающейся реки; солнечный свет падал на Анфилова сквозь красоту – сквозь ветви, сквозь какие-то невидимые воздушные сети, – и самое солнце из повседневной, на которую не смотришь, естественной лампочки превращалось в средоточие красоты, в раздражающий нервы лучистый объект. Местность, будто радиацией, была заражена красотой. Здесь, на севере Рифейского хребта, стояли белые ночи: день угасал бесконечно, небо, будто створа раскрытой раковины, волнилось бледным перламутром – а потом наступали призрачные сумерки без теней, красная палатка приобретала необыкновенный, какой-то космический фиолетовый цвет, и спящая река мягко пиналась, будто младенец в пеленке. Несмотря на бесконечную длительность времени, воздуха, пространства, все здесь, на севере, происходило очень быстро. Так же моментально, как спала с реки весенняя вода, в одну прекрасную ночь повсюду вспыхнула жизнь. С вечера заросли едва зацветающей черемухи уснули, будто накрутив бигуди, – а уже в четыре утра, когда солнце, как ни в чем не бывало, уже лучилось над горизонтом, оба берега тонули в пышной белизне, и по реке в ее ниспадающем ритме плыли полосами одуряющие горькие запахи. Тут же мелколиственные березы, прозрачные, будто стрекозиные крылья, выбросили сережки; по воде заскользили глетаемые перекатами сдобные пятна пылицы.

Анфилов чувствовал, что для него все это очень-очень слишком; если бы то, что он видел, было описано в книге, он бы ее отшвырнул и вернулся к повседневности, – но в экспедиции было совершенно некуда деваться, и ему, нарастившему на лице надежный невидимый панцирь, поминутно хотелось плакать. Никогда еще Анфилов не ощущал себя таким

беспомощным; то был род виртуальной сенной лихорадки, мучившей его ничуть не меньше, чем развешенные в воздухе тонны мошкар, которыми брызгало, будто из пульверизатора, на горячий человеческий пот. Временами Анфилогову казалось, что он вот-вот умрет перед этой красотой, которая нематериальна и которую тем не менее не сдвинуть с места. Он впервые начал понимать людей, что держатся строго в пределах городского существования, в пределах мира, произошедшего из человеческой головы. Здесь никакая рукотворность не ограждала Анфилогова от воздействующей на него стихии, и не было ни книжки, ни света для чтения, чтобы заполнить безразмерное время после скудного ужина – голодные мыльные сумерки с негаснувшей рекой, блестящей, будто нож с остатками масла, с мягкими сдобными крошками.

\* \* \*

На двадцать третий день экспедиция вышла на синюю отмель, похожую на место находки первого прозрачного корунда, как след от левого сапога похож на правый; воздушный очерк вершин с голубыми лепестками снежников оставался все тот же. Анфилогов испытал сильнейшее дежавю, увидав гранитный валун, на котором неделю назад дробил молотком пустой доломит. Однако на этот раз у валуна во лбу белело большое телячье пятно – и весь он, несомненно, указывал туда, где по насупленному склону пролежала естественная складка: рыхлое русло, перетянутое глиняными и песчаными наносами, с выходами трещиноватого камня, в котором Анфилогов моментально распознал вмещающую породу, сильно разрушенную водой.

Вероятно, вода сходила здесь по весне, теперь же ручей, напоминающий с реки ярусы птичьих гнезд с аккуратно уложенными рябыми яичками-голышами, стоял пустым. Первый же камень, поднятый на отмели, был, как пасхальный кулич, усыпан корундовым крапом. Удивительно, но ручей, по-видимому, повторял изгибы доломитовой жилы и за долгие годы проделал работу, которую хитникам теперь предстояло довести каелками и клиньями до победного конца. Анфилогов почти не сомневался, что перед ними та самая “труба”, из которой в реку течет аллювиальная россыпь корундовых следов. Последние сомнения рассеялись, когда Колян, натаскав из русла минеральной каши, промыл ее в своей вместительной миске: целых четыре угловатые искорки – не какие-нибудь, а классического цвета “голубиная кровь” – превратили стеклышко часов как бы в игольчатый ледок, под которым помаргивал секундной ресничкой ослепший циферблат.

Между тем, по расчетам Анфилогова, на разработку жилы им оставалось не более недели. До форпоста цивилизации – сонной железнодорожной станции с закрытым магазином и скудными полями картошки – предстояло спускаться походным маршем десять, а при плохой погоде все пятнадцать дней. Если бы профессор не ощутил подспудного ритма событий и не ввел своевременно режима экономии, корундовая отмель стала бы для экспедиции точкой невозврата. Достигнув этого места с его эффектами дежавю за каждым кустом (что объяснялось, вероятно, предельной воплощенностью мечты), хитники должны были бы немедленно возвращаться с пустыми руками. Теперь же у них имелся некоторый люфт, обеспеченный резервом тушенки, сгущенки и макарон. Однако удаче следовало стать более прицельной: искусственно затянутое пребывание в чуждой стихии не могло продлиться долго – а красота, раздражительно реальная до последней бабочки, распластанной на валуне с сердитым выражением крыльев, похожих на прижатые кошачьи уши, стояла здесь во всю высоту атмосферного столба.

Несмотря на то что экспедиция пребывала все в той же котловине, легко обнесенной все теми же асимметричными горами, Анфилогова не оставляло чувство, будто они с напарником каким-то образом достигли той необычной, похожей на склейку не совсем совпавшего узора складки горизонта, что виделась ему все эти дни в речных верховьях. “Край мира” – вот слова, которыми профессор мог бы обозначить свои ощущения, хотя и стоял обеими ногами

на простиравшейся в любую сторону твердой земле. Хитники разбили лагерь, потратив драгоценные полдня, аккуратно укрыв припасы от шуршавших в траве грызунов. Первый же удар каелкой по разрушенной породе отвалил кусок, похожий на творог с густо намешанным изюмом. Корунды, однако, оставались непрозрачны: густо засахаренные правильной формы кристаллы не содержали внутри ювелирного леденца.

– Я так скажу, Василий Петрович, сверху мы ничего не снимем, – подвел итог наломавшийся Колян, ворочаясь ночью в надувной, резиновой игрушкой пахнувшей палатке, за стенкой которой, будто пассажир в соседнем купе, вздыхал и ворочался первый за время экспедиции северный дождь.

Анфилогов и сам понимал, что надо бить шурфы. Наутро отяжелевшие ели были, будто темные зонты, напитаны сыростью, русло ручья, хоть и оставалось безводным, заметно опухло. Худо было то, что деревья по склону стояли негусто и практически весь он просматривался с реки, будто хорошо прорисованная карта: какие-нибудь туристы – не те каскадеры, что в начале экспедиции проскакали по порогам в своих заливаемых люльках, а любители спокойного августовского сплава с рыбалкой и костерком – могли обратить внимание на свежие ямы и поинтересоваться их содержимым. Надеясь, что повезет, Анфилогов выбрал место для шурфа в укрытии маленьких скал, похожих в результате работы ветра на подтаявших снеговиков: их необычная форма, сразу привлекавшая взгляд, настолько исключала мысль о чем-либо практическом, что за ними разработки были в безопасности. Однако там, в отсырелой тени, оказалось столько же фарта, сколько внутри отключенного холодильника: верхний легко крошившийся слой еще подразнил остервенелого Коляна каменной малиной, а под ним оказался матерый, словно железный, гранит, от которого каелка отскакивала с пением, оставляя в плечах ощущение электрической дуги.

Пришлось возвращаться на прежнее место. Однако жила вопреки первоначальным впечатлениям вильнула. Только четвертая яма дала экспедиции первые ювелирные камни: небольшие, мутноватые, годные не в огранку, а разве что на кабошоны. Дальше стало поинтересней: заглубившись больше собственного роста, хитники нарыли хорошее гнездо, откуда взяли карат на пятьдесят приличного, с видными на сломах прозрачными зонами гранильного сырья. Однако это были далеко не те находки, что ожидались по логике событий. Анфилогов чувствовал, что где-то близко, буквально под ногами, лежит настоящая удача, что экспедиция от нее, быть может, в миллиметре.

Миллиметр, однако, оказался большим. Целый день экспедиция потеряла, переживая ветреный дождь, кучами ходивший по обвисшей палатке, по вздувшейся речке, на которой при ударе мутной стихии словно бы вставала дыбом водяная шерсть. Шурфы после дождя оказались наполовину залиты темной мусорной водой, которую пришлось вычерпывать миской и ведром. Однако и без дождя трещиноватая порода сама по себе сочилась влагой, стекавшей по стенкам медленно, будто на ощупь; за ночь подземных вод набиралось в шурфе на полтора ведра, и узкое дрожащее зеркальце делало дно колодца похожим на закатившийся глаз. Почему-то подземные воды были тяжелы, точно расплавленный свинец, и, сплескиваясь, оставляли на траве незаживающее темное пятно.

Утро начиналось по свистку бурундука, воровавшего сахар. Каждое утро Анфилогов твердо знал, что сегодня надо уходить, замаскировав до будущего лета перспективные разработки. Однако же хитники, не говоря друг другу ни слова, наскоро съедали по несколько ложек мучнистой баланды, не стесняясь вылизывать кислые миски, и механически шли на свою корундовую каторгу. Машинально они брались за вчерашнее и позавчерашнее, словно намагниченные этим странным местом, словно заведенные; казалось, будто сделать что-нибудь, не входящее в этот ежедневный ритм, будет стоить им гораздо большего усилия, чем по-прежнему махать каелками, утыкаясь всей оставшейся тяжестью тела в место удара.

Голод, подступая, был как длинный поцелуй всасос, от которого совсем пустело в животе. Анфилогов ловил себя на том, что совершенно прекратил о чем-либо думать. Ему представлялось, будто точка встречи с удачей была определена с какой-то роковой погрешностью, так что теперь ресурсы еды и жизни спускаются зря. «Еще немного, еще чуть-чуть!» – орал, подбадривая себя, укушенный паутом под глаз, почти окривевший Колян, на котором грязные рабочие штаны висели, как на танцовщице восточные шальвары. Иногда он отрывал себя буквально силой от гипнотических доломитов и, хоронясь за кустиком, чтобы хариус, глядящий вверх, не увидел сквозь воду охотничью тень, забрасывал леску с пучком медвежьих волосков. Соблазнившиеся «мухой», хариусы взвивались из воды, как маленькие северные сияния, но на воздухе их радужные шкуры быстро бледнели; мясо запеченных рыбок хитники моментально сбрасывали до деликатных, как застежки дамского белья, розоватых скелетов, по очереди лазая липкими пальцами в жестянку из-под соли, стирая с измятых стенок последний сладостный налет.

– Вот вернемся, Василий Петрович, сразу научусь готовить, – мечтал у сиплого сырого костерка разомлевший Колян. – Не хуже, чем в «Метрополе»! Торты буду делать с розами и салаты с майонезом. А что, по книжке не прочитаю? Были бы продукты.

Анфилогов, у которого несоленая рыба оставляла во рту какой-то мертвый привкус, очень понимал такие кулинарные мечты. Он сам бы теперь поколдовал с хорошей вырезкой, приправами и вином; притом он знал, что Колян едва ли исполнит высказанное, потому что за последние десять лет ни разу ничему не научился. Что Колян умел – он умел от природы; что же касается Анфилогова, то он, при всей своей опытности коммерсанта и хитника, был совершенно не приспособлен добывать пропитание в дикой тайге.

Между тем шутки были плохи. Макароны кончились; от гречневой крупы осталась практически пыль; последнюю муку растряс по палатке, разодрав полиэтилен словно бы железной вилкой, какой-то зверек. Папирос не было давно. Анфилогова, иногда курившего тоненький Vogue исключительно ради чувственной дымки в мозгу, это не касалось, а вот Колян ужасно мучился: сушил на заскорузлых газетах гниющие кучки спитого чая, лазал на четвереньках, отыскивая какие-то резкие травы и сухие ватные соцветия; вся эта дрянь ядовито тлела в грубах, как веревки, газетных самокрутках и, бывало, загоралась факелом, подпаливая Коляну серые усишки. Собственно, хитники почти уже съели свою обратную дорогу. Анфилогов знал, что человек может месяц не принимать еды и остаться в живых. Но это если он лежит в кровати под наблюдением медиков и забастовочного комитета. Совсем не то же самое, что выходить из тайги, когда тридцать километров в день превращаются в десять, далее в пять. Можно просто не дотянуть, не совпасть со своим шансом на выживание, свернув от приметного дерева по одному из двух направлений, которые сквозь голодную рябь в голове кажутся одинаково знакомыми, пройденными буквально позавчера. Анфилогов знал, что голод, овладевая человеком, способен на спецэффекты: какое-нибудь дикое место вдруг представляется родным, как собственный дачный участок. Кажется, что вот-вот – и выйдешь отсюда к жилью, но выйти нельзя. Правая нога, которая шагает сильнее левой и заворачивает ходока по кругу, ломается, будто не выдержавший нажима чертежный карандаш. Человек, сам не понимая как, съедает ядовитый гриб, предстающий перед ним на своей завернутой в салфетку тоненькой ножке будто изысканный десерт. Анфилогов знал, что состояние голода сходно с состоянием гипноза, и теперь въяве ощущал первые подступы этого мягкого транса. Каждое утро ему казалось, будто он уже принял решение сворачивать лагерь и теперь его осуществляет. Одновременно он ощущал себя вблизи своих шурфов абсолютно как дома; поцелуи голода будили в нем какую-то мечтательную чувственность, желание женщины, субтильной и бледной, с тонкими косточками, вместе составляющими совершенный скелет, с маленькими молочными железами, припухлыми, будто детские железы.



\* \* \*

Ночью, под глухой машинный шум дождя, наполнявшего пластиковый тент над отсырелой палаткой ведрами воды, профессору приснилось, будто эта женщина пришла к нему. Голенькая, очень худая, она была совершенна, как латинская буква, как образец особенного человеческого шрифта. Заломив угловатый локоть, она лежала на спине, и живот ее белел, как миска молока. Как будто не было ничего особенного в узком, словно ящерица, существе – но вся красота, что стояла на берегах корундовой реки, была предисловием к этому телу, к этой безумной тени под грудью, похожей на тонкий полумесяц. Почему-то женщина плакала, светлые виски ее намокли, глаза, подведенные влагой, были египетские. Во сне эти беззвучные слезы невероятно возбуждали Анфилогова. В то же время он осознавал, что женщина ему не вовсе незнакома, более того – это совершенно точно одна его дальняя родственница, обычная гуманитарная девица, которой Анфилогов иногда подбрасывал немного денег, а та ответно порывалась сделать уборку в его неприкосновенной квартире и однажды разбила тонкую, прожившую большую жизнь фарфоровую чашку.

Анфилогов проснулся с неразрешенным томлением в чреслах, в слезах, превративших волосы под измятой щекою в мокрый спрессованный комок. Первые влажные лучи играли на воде, залившей тент, Колян, раскинувшись, храпел, его раскрытый рот зиял, как темная кротовая нора. Профессор спустился к реке, тянувшей туман, в котором дальние черемухи стояли, будто букеты в папиросной бумаге. Сделав красной горстью то, что нужно, Анфилогов выпустил в воду горячее и пышное пятно, подобное гадальному воску от целой сгоревшей свечи. Затем он обмылся ледяными пригоршнями и, застегнув штаны, попытался протрезветь. Красота, сосредоточенная на Анфилогове, силилась достичь предельной концентрации, но ум профессора работал отчетливо. Он понимал все намеки и указания, выдающие в гуманитарной девице Хозяйку горы. Даже тот произвольный факт, что девица состояла с Анфиловым в троюродном родстве, ложился в эту опасную версию, потому что, по легенде, Хозяйка горы и ее избранник видятся людям похожими, будто брат и сестра. Это было очень-очень слишком! Вокруг Анфилогова хватало гораздо более привлекательных дам, и даже, если уж на то пошло, такие были и среди его многочисленных родственников. Но при мысли об этой женщине типа “училка”, всегда одетой в нищие свитерочки и в какие-то нелепые, будто крашенные чернилами джинсовые юбки, у него почему-то заходило сердце.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.